8Р1
ф 45

АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР

М.И.ФЕТИСОВ

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПОВЕСТИ НА КАЗАХСКИЕ ТЕМЫ

АЛМА-АТА — 1930

8Р1
Ф.45
+ 8С(каз)

АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР

М. И. ФЕТИСОВ

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПОВЕСТИ НА КАЗАХСКИЕ ТЕМЫ



Чкаловская
областная библиотека
читальня №_____



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР

АЛМА-АТА 1950

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В. И. ДАЛЬ (1801 — 1872) И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

Талантливый писатель «натуральной школы», выдающийся лексикограф, этнограф, фольклорист, естествоиспытатель, врач, общественный деятель, Владимир Иванович Даль занимал видное место в русской литературе XIX века. В 30-е годы, когда он работал над циклом произведений на казахские темы, Белинский ставил его на второе место после гениального творца «Ревизора» и «Мертвых душ», а по талантливости сравнивал с И. С. Тургеневым. «Теперь у нас на очереди «Рассказы охотника» г. Тургенева, — писал критик. — Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Луганского (г. Даля). Настоящий род того и другого — физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда».[205]

Близкие дружеские отношения связывали Даля с известными деятелями русской литературы, культуры и науки: А. С. Пушкиным, И. А. Крыловым, Н. В. Гоголем, В. А. Жуковским, Н. М. Языковым, А. Н. Дельвигом, В. Ф. Одоевским, П. И. Мельниковым-Печерским, Н. И. Пироговым и др. Это обстоятельство имело огромное значение в идейном формировании Даля; в частности, несомненно, что под непосредственным воздействием Пушкина он обратился к разработке в гуманистическом плане тематики жизни казахского, украинского, башкирского, еврейского и других народов России.

«Только личные отношения к писателям пушкинской эпохи, — правильно отмечал профессор Казанского университета Н. Н. Булич, — ...помогли ему сознать свое призвание и поставили определенные цели деятельности».[206] Об этом писал и Л. Майков, характеризуя знакомство и связи тридцатилетнего Даля с Пушкиным: «Он еще не пользовался известностью в литературном мире, но умственный склад его уже вполне определился; он не искал покровительства Пушкина, как многие начинающие писатели, но рад был найти в нем нравственную поддержку тем занятием, которым с ранних

[205] В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Избр. соч., Гослитиздат, М., 1947, стр. 605.

[206] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб, 1893, т. X, стр. 48.

лет посвятил свой досуг, и которые мало по малу делались господствующими интересами его жизни».[207] А занятия, послужившие поводом к сближению Пушкина и Даля, заключались в усердном собирании материалов народного творчества, изучения народной жизни, чем сам великий поэт так увлекался в то время.

Пушкин горячо поддержал и грандиозный замысел своего молодого друга создать первый «Толковый словарь живого великорусского языка». В краткой биографии Даля, опубликованной в год его смерти, отмечалось: «Сближение с Жуковским, а через него с Пушкиным утвердило Даля в мысли собирать словарь народного русского языка. В особенности Пушкин деятельно ободрял его, перечитывал вместе с ним его сборник и пополнял своими сообщениями».[208]

Пушкин весьма благосклонно относился и к первым литературным начинаниям Даля, давал ему даже творческие задания. Так, например, по прямому пушкинскому совету, Даль обратился к драматургии и сочинил «старую бывальщину в лицах» под названием «Ночь на распутии или утро вечера мудренее». Произведение это, вводившее в мир русской сказочной фантазии, заинтересовало гениального композитора М. И. Глинку, и он намеревался использовать его для оперного либретто.

В 1833 г. Даль сопровождал Пушкина во время его поездки по местам пугачевского восстания в Оренбургском крае, в состав которого тогда входили и нынешние области Казахстана.[209] Даль, как близкий человек и врач, неотлучно провел с великим поэтом три дня после его смертельного ранения на дуэли. «Пушкин умер на руках Даля, в буквальном смысле слова».[210] Наконец, в автобиографии, написанной Далем по просьбе академика Я. К. Грота для Академии наук утверждалось, что Пушкин горячо поддерживал собирание материалов для словаря в то время, как «Жуковский был как бы равнодушен к этому и боялся мужичества».[211]

Пушкинским влиянием отмечены именно те годы деятельности Даля, когда он обратился к реалистическому и гуманистическому изображению жизни казахского и других народов, ныне составляющих братскую семью народов СССР. Это тем более важно подчеркнуть, что по мировоззрению, по социально-политическим воззрениям Даль в последующие (40 — 60-е годы) далеко отошел от своих же демократических позиций пушкинской эпохи.

---

[207] Л. Майков. Пушкин и Даль. Русский вестник, 1890, кн. 10-я, стр. 3. Подчеркнуто нами. — *М. Ф.*

[208] П. Б. — В. И. Даль. Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке, 1872, т. X, стр. 2026. Биография написана издателем «Русского архива» Петром Бартеньевым.

[209] Этот эпизод изображен в поэме П. Строкова «Пушкин в Бергах» (альманах «Степные огни», Чкаловское издательство, 1949, № 8, стр. 35).

[210] П. Б. — В. И. Даль. Русский архив, 1872, т. X, стр. 2026.

[211] Я. К. Грот. Воспоминание о В. И. Дале. Записки Академии наук, СПб, 1873, т. XXII, стр. 262.

«В обеих сторонах своей деятельности, — отмечал еще А. Пыпин, — и как беллетрист, и как этнограф, Даль был человеком известного времени; его «народность» образовалась под влиянием литературных и общественных взглядов, какие господствовали в Пушкинскую пору, до появления новых направлений, и не вышла из этих пределов».[212] Нельзя, однако, согласиться с А. Пыпиным, что Даль выступал в литературе только эпигоном.[213] В меру своего литературного дарования Даль на новом, в том числе и казахском, материале следовал на протяжении 30-х и первой половины 40-х годов замечательным пушкинским традициям.

Долгие годы службы в петербургских министерских канцеляриях, затем исполнение обязанностей управляющего Нижегородской удельной конторой (1849 — 1859 гг.) оторвали писателя от передовой русской общественности. Монархические взгляды, националистические крайности в понимании, например, польского вопроса, религиозные, философско-мистические увлечения не только вызывали затем обоснованную неприязнь революционных демократов к Далю, но и обесплодили его литературное дарование. Добролюбов в 1858 г. с возмущением писал, что «г. Даль обнаружил в себе упорного врага крестьянской грамотности и грозится именными списками доказать вред ее».[214] Даль этих лет совсем не похож на Даля 30-х годов, когда он выступал под пушкинским знаменем, под знаменем критического реализма и демократического гуманизма в русской литературе. Вне правильного понимания характера общественно-литературной позиции в 30-е годы и последующего идейного упадка писателя невозможно понять и по достоинству оценить его плодотворную многообразную деятельность, связанную с Казахстаном.

Демократические черты в деятельности и творчестве Даля проявляются именно в годы, предшествующие переезду в Оренбург и затем связанные с пребыванием в последнем. Демократизм писателя этого периода проявлялся в любовном изучении жизни русского и других народов нашей родины, в живом и деятельном проявлении благородного патриотического самосознания.

Демократическая патриотическая устремленность Даля вызвала сочувственное восхищение Белинского: «Ведь легко писать возгласы, исполненные хвалы России и ненависти ко всему не-русскому; но это еще не значит любить Русь и все русское. Другой и действительно любит их, да нет у него достаточно таланта, чтобы любовь его отразилась в мертвой букве и зажгла ее теплом и светом жизни... Любовь Даля к русскому человеку — не

---

[212] А. Пыпин. По поводу «Толкового словаря» Даля. Вестник Европы, 1873, № 12, стр. 885.

[213] Там же, стр. 887.

[214] Н. А. Добролюбов. Современное образование. Полн. собр. соч., Гослитиздат, М., 1941, т. V, стр. 236; см. также стр. 410 — 411. Статья впервые опубликована в «Современнике», 1858, № 1.

чувство, не отвлеченная мысль: нет! Это любовь деятельная, практическая. Не знаем, потому ли он знает Русь, что любит ее, или потому любит ее, что знает; но знаем, что он не только любит ее, но и знает. К особенности его любви к Руси принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком»[215].

Такая же деятельная любовь к многонациональной России отличала и все, что было сделано Далем в Казахстане и для казахского народа. Поэтому и Гоголь писал в то время, когда Даль работал над темами жизни народов России, что его произведения помогают познанию «нашей народной жизни», «что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время». Гоголь называл далевские сочинения «живой и верной статистикой России». Оценка Гоголя почти дословно совпадала с оценкой Белинского, написавшего, что «Даль — это живая статистика русского народонаселения».[216]

Справедливость такой характеристики подтверждается направленностью и содержанием разнообразной деятельности Даля в Оренбургском крае, в частности развитием отношений с казахским народом. В отмеченный период Даль демократически решал проблему межнациональных отношений и поэтому близко подошел к изучению жизни казахов, выступал воодушевленным проводником цивилизующей силы передовой русской культуры.

Родился В. И. Даль 10 ноября 1801 г. в интеллигентной семье. Отец писателя работал доктором при Луганском (ныне Ворошиловградском) металлургическом заводе[217]. Отец Даля был по национальности датчанином, но совершенно порвавшим связи с Данией и считавшим себя русским человеком. «Он, — указывал В. И. Даль в автобиографии, — при каждом случае напоминал нам, что мы русские, знали язык, как свой» и сожалел, что его дети по молодости не могли принять участие в Отечественной войне 1812 г. Когда же в 1816 г. Далю, гардемарину русского флота, довелось побывать в Дании, он убедился, «что нет у меня ничего общего с отчизной моих предков», а немцев он «всегда считал народом для себя чуждым». Уже в конце жизни в ответ на споры о том, какой же он национальности, Даль утверждал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той, или другой народности. Дух, душа человека, — вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем можно определить принадлежность духа? — Конечно, проявлением духа, — мыслью. Кто на каком

---

[215] В. Г. Белинский. Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Собр. соч. в четырех томах, т. IV, М., 1898, стр. 973.

[216] Там же, стр. 976.

[217] От названия города, где родился Даль, происходит и его литературный псевдоним — «казак Луганский».

языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».[218]

Даль учился в Петербургском морском корпусе. «...Пребывание в Морском корпусе, — рассказывала дочь писателя, — составляло безотрадную страницу в жизни отца, и он с отвращением отворачивался от здания корпуса, когда проходил мимо него»[219]. Муштра, подавление личности юноши, невежественные и грубые преподаватели, — все это выработало в одаренной натуре Даля не только отрицательное отношение к педагогике николаевских времен, но и властное стремление к общению с передовой культурной средой. После кратковременной службы во флоте, Даль досрочно окончил медицинский факультет Дерптского университета, откуда добровольно ушел в действующую армию и здесь проявил себя прекрасным фронтовым хирургом, смелым офицером.

Более двадцати лет Даль провел в переездах по российским просторам. Петербург, Москва, Нижний Новгород, Оренбургский край, Уральск, Гурьев, казахские степи, Украина, Крым, Молдавия, Башкирия, участие в русско-турецкой (1828 — 1829 гг.), русско-польской (1830 — 1831 гг.) кампаниях и Хивинском походе (1839 — 1840 гг.), — таково неполное обозначение географии странствований писателя. «Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, — утверждал Даль в автобиографии, — знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет или плесень...».[220] Поэт-петрашевец А. П. Баласогло даже при недружелюбном отношении к Далю признавал, что он превосходил современников в «неограниченном практическом знании России вдоль и поперек»[221]. Богатство жизненных впечатлений заставило его обратиться к перу литератора и питало его творчество, основанное преимущественно на лично виденном и услышанном.

Литературная деятельность Даля началась в 1830 г. с публикации повести «Цыганка» в журнале «Московский телеграф», где годом раньше выступил с «Киргиз-кайсаком» Ушаков. Первая опубликованная повесть, названная Н. А. Полевым превосходною[222], отчетливо показывала особое тяготение молодого писателя к литературно-этнографическим описаниям, в данном случае посвященным изображению быта, нравов и типов молдаван и молдаванских цыган. Этнографизм или, как выражался один из критиков, поэтическая этнография составляли самую сильную и ори-

---

218 Цитир. по критико-биографическому очерку П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «Владимир Иванович Даль». Полн. собр. соч. Даля, т. I, изд. т-ва Вольф. СПб, 1897, стр. LXXXIX — XC.

219 Е. Даль. Владимир Иванович Даль. Русский вестник, 1879, № 7, стр. 85. Об этом же говорил и сам Даль в автобиографической записке. См. Русский архив, 1872, т. X, стр 2249.

220 Записки Академии наук, 1873, т. XXII, стр. 262.

221 А. П. Баласогло. Исповедь. «Петрашевцы». Сб. материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. II, Госиздат, М. — Л., 1927, стр. 240.

222 Московский телеграф, 1830, ч. 36, стр. 544.

гинальную сторону таланта Даля, так полно сказавшуюся в лучшей его повести о казахах «Бикей и Мауляна».

Литературную известность Далю принесло в 1832 г. издание «Русские сказки, пяток первый», тепло встреченное Пушкиным. Годом позднее, после поездки Пушкина в Оренбургский край, великий поэт послал ему рукописный экземпляр своей «Сказки о рыбаке и рыбке» с выразительной надписью: «Твоя от твоих. Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин». П. И. Мельников даже указывал, что Пушкин не только восхищался сказками Даля, но под их влиянием написал свою «Сказку о рыбаке и рыбке»[223]. Две из пяти опубликованных далевских сказок («О Иване молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста без прозвища» и «О похождениях чертопослушника, Сидора Поликарповича, на море и на суше, о неудачных соблазнительных попытках его и об окончательной пристройке его по части письменной») вызвали донос литературного шпика Ф. Булгарина. Даля арестовали жандармы III отделения, книгу конфисковали[224]. Заступничество поэта Жуковского и академика Паррота спасло молодого автора от царской расправы, но подозрение в политической неблагонадежности тяготело над ним еще целое десятилетие[225].

Летом 1833 г. Даль в качестве чиновника особых поручений при недавно назначенном военным губернатором Оренбургского края В. А. Перовском переехал из Петербурга в Оренбург. Семь лет оренбургской деятельности были исключительно плодотворными в жизни Даля. Здесь окончательно оформился его талант мастера физиологических очерков. Здесь развернулась его кипучая научно-просветительная и общественно-административная деятельность, связанная во многом с постоянным общением с казахским народом. Здесь окончательно оформился замысел создать толковый словарь русского языка и была проделана огромная работа по собиранию лексикографического материала. Словарь Даля получил высокую оценку В. И. Ленина. В письме к Луначарскому Владимир Ильич писал: «Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь...».[226] В Оренбурге Даль проявил себя и как незаурядный натуралист: в 1834 г. за труды по естественным наукам он был избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1865 г. Даль как создатель толкового словаря русского языка был удостоен высокого звания почетного академика.

Биограф Даля П. И. Мельников-Печерский особенно выделял оренбургский период жизни своего друга в смысле творческой

---

[223] П. И. Мельников. Воспоминания о В. И. Дале. Русский вестник, 1873, № 3, стр. 298.

[224] См. А. М. Скабичевский. Очерки истории русской цензуры (1700 — 1863 г.). Изд. Ф. Павленкова, СПб, 1892, стр. 229 — 230.

[225] См. Русская старина, 1848, № 5, стр. 182 — 184.

[226] Ленин о литературе. Сборник статей и отрывков. Гослитиздат, М., 1941, стр. 243. Первое издание словаря было осуществлено в 1861 — 1869 гг.

продуктивности и обстоятельного изучения казахской действительности. Он писал:

«К восьми годам (с 1833 по 1841) пребывания Владимира Ивановича в Оренбургском крае относится большая часть его повестей и рассказов. К этому же периоду времени должно отнести и главнейшее пополнение запасов его для словаря и собрание народных сказок, пословиц и песен.

...Живя в Оренбурге, Владимир Иванович совершенно изучил быт Киргизов и Уральских казаков и написал рассказы «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка». Сюда же, пожалуй, можно отнести и восточную сказку «Бараны», напечатанную в «Москвитянине» сороковых годов и наделавшую в свое время много говора и даже переполоху между окружными начальниками и другими губернскими чиновниками ведомства Государственных Имуществ.

...В восемь лет жизни в Оренбургском крае Вл. Ив. изъездил его весь из конца в конец, вдоль и поперек. Он не раз езжал с В. А. Перовским по обеим сторонам Урала»[227].

С первых же дней пребывания в Оренбурге Даль установил тесное общение с семьей Соколовых, давно обосновавшихся в Оренбургском крае и общавшихся с казахским населением. Даль умелой хирургической операцией (ампутация руки) спас жизнь Л. В. Соколову, а вскоре и женился на его дочери. В семейной хронике Соколовых воспоминания и рассказы о Казахстане занимали большое место. Родная сестра В. Г. Соколова, деда жены Даля, двенадцать лет прожила в казахском ауле. «Батырь-девка» — прозвали ее киргизы за бойкость ее. Это был второй Василий Гаврилович, и выкупившая ее Екатерина Семеновна (жена В. Г. Соколова. — *М. Ф.)* немало возилась с нею».[228] Сам В. Г. Соколов и его сын, отец жены Даля, участвовали в делах, связанных с казахской действительностью XVIII и начала XIX веков[229]. В семейных преданиях сохранялся рассказ о том, как Соколовы ловили казаха Белебея. Заключенный в тюрьму при случайном содействии исправника, Белебей «несколько раз поминал: «Лучше бы меня поймал молодец Соколов». Он сочинил в остроге песню про себя и Льва Васильевича: как сокол коршуна ловил и как коршун улетел от него, попался галкам в лапы, но галки заснули и коршун снова полетел[230]. Колоритная фигура Белебея, его поэтическая импровизация, рассказы о быте казахских аулов, о давних связях их обитателей с русскими, естественно, возбуждали повышенный интерес любознательного Даля к жизни казахских степей.

---

[227] П. И. Мельников (Андрей Печерский). Владимир Иванович Даль. Цитир. изд., стр. XLII, XLIII — XLIV и XLIX.

[228] Е. Даль. Владимир Иванович Даль (по воспоминаниям его дочери). Русский вестник, 1879, № 7, стр. 72 — 73.

[229] Там же, стр. 72 и 75 — 76.

[230] Там же, стр. 76.

Неопубликованная содержательная и многолетняя переписка Даля с родной сестрой Паулиной Ивановной Шлейден убедительно показывает, как пристально, неустанно и любовно изучал писатель жизнь казахского народа. Именно с этой целью он ежегодно совершал длительные поездки по степным аулам, подолгу жил в казахских кочевьях. «Лето провел в степи, сделал верхом я 1500 верст»[231], — писал Даль сестре 20 августа 1838 г. Несколько позднее он сообщал, подчеркивая свою любовь к казахской степи: «Живу опять на кочевье, где так хорошо, так хорошо, что не расстался бы... Горы, леса — новый вид на каждых ста шагах»[232]. Ряд писем послано из Уральска, где Даль неоднократно бывал.

Поездки по казахским аулам, жизнь среди казахов помогли Далю быстро установить самые дружеские отношения с ними, всесторонне познакомиться с их жизнью, нравами, бытом, народным творчеством. Казахи весьма охотно помогали русскому писателю и исследователю во всех начинаниях, относились к нему с исключительным доверием.

Даль представляет характерный тип русского общественного деятеля, работающего в тесном дружеском и деловом контакте с населением малоисследованных районов Средней Азии первой половины XIX века. Разрекламированный в Западной Европе ученый путешественник А. Вамбери (1832 — 1913 гг.), современник Даля, стремился в таинственную Среднюю Азию не только ради научных интересов, но и как политический разведчик, ставленник западноевропейских колонизаторов, заядлый руссофоб, его влекла также азиатская экзотика. Русский же писатель руководствовался принципиально иными соображениями. Воспитанный в духе традиций пушкинского гуманизма, Даль не искал в Средней Азии необыкновенных приключений, оставался совершенно чужд авантюрным настроениям западноевропейских колонизаторов и искренне жаждал принести посильную помощь казахскому народу, развить культурные начала в жизни отсталой окраины. Его могла бы возмутить такая, например, характеристика, данная Вамбери издателями его книги и тенденциозно подчеркивающая превосходство «европейца» над «азиатом»: «Вамбери — единственный Европеец нашего времени, успевший обойти Среднюю Азию, с ее пустынными степями и полудикими ордами кочевников и грабителей, и передавший нам результаты своего отважного предприятия»[233]. Даль никогда не говорил о своей деятельности в Средней Азии, о литературных трудах так нескромно, как Вамбери[234].

---

[231] В. И. Даль. Письмо к П. И. Шлейден из Оренбурга. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля.

[232] В. И. Даль. Письмо к П. И. Шлейден из Оренбурга от 14 сентября 1838 г. Там же.

[233] Арминием Вамбери. Путешествие по Средней Азии, совершенное в 1863 году, СПб, 1865, предисловие от издателей, стр. I.

[234] Там же, предисловие автора, стр. II.

Даль на тридцать лет раньше Вамбери описал часть среднеазиатской территории, на которой кочевали казахи, кокандцы, бухарцы, хивинцы, туркмены, но его заслуги явно недооценивались в онемеченной среде царской бюрократии. Книгу Вамбери немедленно перевели на русский язык, рекламировали ее, а издание литературных очерков Даля оставалось делом его личной инициативы. Приоритет талантливых русских исследователей Средней Азии всячески умалялся теми, кто постоянно и во всем низкопоклонствовал перед иностранщиной.

Вамбери оставался прежде всего политическим разведчиком английской ориентации, сумевшим одновременно сделать не лишенные научно-этнографического, лингвистического интереса наблюдения и описания, а Даль выступал активным участником общественной жизни тех районов Казахстана, которые оказывались в орбите его внимания и служебной деятельности. Вамбери, например, в своей книге «Ислам» открыто отстаивал сохранение многовековой отсталости порабощенных народов Востока, что вызвало в 70-е годы XIX века решительный протест просветителя азербайджанского народа Гасан-бека Зардаби (1837 — 1907 гг.)[235], а Даль, работая в Оренбургском крае, содействовал здесь развитию культуры и сближению казахов с русским народом. Вамбери оставался чуждым для местного населения, чувствовал себя во враждебном окружении. У Н. Тихонова в художественном очерке, интересном по фактическому материалу, но апологетическом по истолкованию всей жизни и приключений Вамбери, встречается показательная деталь. После возвращения в Европу Вамбери с презрением говорит о народах Средней Азии и убежден, что их счастливое будущее может быть обеспечено только английскими колонизаторами: «И Средняя Азия — склеп. Я с радостью вырвался оттуда. Там только рабы и деспоты. Нищета и пустыня. Подождем лучших времен. Запад полон людей хитрых и сильных. Они любят золото и кровь еще сильнее, чем азиаты. И они уже идут».[236] Такие циничные колонизаторские настроения и признания никогда не были свойственны Далю. Напротив, он сумел установить тесные дружеские отношения с кочевыми казахскими родами и снискать среди них авторитет честного защитника их попранных национальных интересов.

Весьма характерно, что Даль, работая в 30-е годы чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Оренбургского края В. А. Перовском, проявлял сочувственное отношение к Исатаю Тайманову (1791 — 1838 гг.) и поэту-воину Махамбету Утемисову (1804 — 1846 гг.), которые в 1836 — 1838 гг. возглавляли

---

[235] Гасан-бек Мелик-заде (Меликов) Зардаби, публицист-демократ и видный общественный деятель азербайджанского народа, резко критиковал книгу Вамбери «Ислам» на страницах первой азербайджанской газеты «Экинчи» (Пахарь).

[236] Николай Тихонов. Вамбери. Сб. «Стихи и проза», Гослитиздат, М., 1947, стр. 290.

восстание казахов против хана Джангера Букеева. В неоднократных обращениях к военному губернатору Перовскому хан Джангер, имея все основания надеяться на военную поддержку царского правительства в борьбе против Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, категорически настаивал, чтобы для расследования степных «беспорядков» посылались из Оренбурга вполне благонадежные чиновники. Так, в письме от 2 сентября 1837 г. Джангер Букеев доказывал необходимость отвода есаула Сумкина, назначенного для производства следствия над Исатаем:

«Исатай со своими сообщниками, кажется, давно ожидал и желал назначений этого знакомого ему чиновника следователем над собой, отводя бывших уральских следователей своими подозрениями и ослушанием являться к ним для ответа, тогда как к этому следствию назначались два чиновника из заслуженных штаб-офицеров.

Я желаю,чтоб открыто было, кем и где были писаны ябеднические прошения Исатая и бумаги, — тогда обнаружилось бы коварство нарушителей.

Я знаю близкое знакомство Сумкина с Исатаем и, главное, вижу неблаговоление уральцев к Внутренней орде за известные поземельные с ними споры и бывшие на них мои жалобы. Еще довольно памятно, что за тайный и корыстный перепуск здешних киргизов в 1828 г. за Урал многие из них разжалованы из офицеров в казаки. Нельзя, чтоб за то и теперь они не питали ко мне недоброжелательств по родствам и знакомствам»[237].

Джангер всеми силами добивался ареста и осуждения Исатая, а для этого и требовал от Перовского назначения для производства следствия одного из наиболее благонадежных членов Пограничной комиссии. Но попытки царского правительства захватить Исатая или убедить его явиться лично к Перовскому не увенчались успехом.

В сентябре 1837 г. генерал Покотилов во главе значительного казачьего отряда отправился в Букеевскую орду, чтобы найти Исатая и заставить его убеждением или просто силою прибыть в Оренбург. Исатай не мог поверить в добрые намерения генерала, идущего убеждать с отрядом в 150 человек. Да и сам Покотилов доносил Перовскому в рапорте от 15 сентября 1837 г.: «...если убеждение останется безуспешным, то употреблю силу, чтобы переловить злоумышленника»[238]. Ротмистру Акутину, высланному вперед, удалось встретить Исатая и заставить следовать за собою на протяжении сорока верст. Но когда наступили вечерние сумерки, Исатай со своими друзьями скрылся в степи.

В эти же сентябрьские дни Исатай в свою очередь обратился

---

[237] Цитир. по книге А. Ф. Рязанова «Восстание Исатая Тайманова». Очерки по истории национального движения казахского народа. КазОГИЗ, Ташкент, 1927, стр. 50.

[238] Дело канцелярии Оренбургского военного губернатора 1836 — 1838 гг., л. 179— 180. Цитир. по книге А. Ф. Рязанова, стр. 51.

с письмом к Перовскому, объясняя, что он не может явиться в Оренбург, потому что «эсаул Бабаджанов разъезжает с вооруженными людьми и грабит народ, и беспричинно наказывает всякого встретившегося». В этом письме, датированном 11 сентября 1837 г., Исатай просил выслать для расследования и удовлетворения законных народных жалоб на притеснения со стороны хана Джангера В. И. Даля, известного казахам своей правдивостью и объективным пониманием обостренного положения в степи. В письме, написанном, очевидно, поэтом-воином Махамбетом Утемисовым[239], указывалось:

«Народ наш теперь до того дошел, что брат с братом боятся сойтись. Просьбы и жалобы наши никем не принимаются, имущество у нас отнимают и мы, точно иностранцы, страшимся всего, несмотря на то, что принимали присягу на верноподданство государю императору. Но так как в. п. (ваше превосходительство. — *М. Ф.*) представляет здесь лицо главного начальника, то я почел довести до вашего сведения и просить об откомандировании к нам правдивых чиновников, которые бы вникли в наше бедственное положение и произвели по жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем.

Если вы на нас не обратите внимания, то мы совсем пропадем: у нас не останется уже имущества удовлетворить наших притеснителей. Вы предписываете, чтобы мы не собирались толпами. У нас нет никаких сборищ, если б они были, то мы не старались бы укрыться от Караула ходжи и не побоялись бы его. Приезжавшие ко мне люди из Уральска видели, что кочевье мое в Мектубе состоит только из 2-х или 3-х кибиток. В. п., увидя слезы наши, пожалейте свой народ и наградите нас просимыми чиновниками»[240].

Перовский не внял просьбе Исатая и предпочел в соответствии с колонизаторской политикой самодержавия действовать силою оружия. Вместо Даля, пользовавшегося в казахских аулах искренним уважением, военный губернатор направил в район восстания отряд генерала Покотилова и затем, когда Покотилов не справился с задачей захватить Исатая, еще более многочисленный отряд во главе с подполковником Геке. Движение Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова было подавлено.

---

[239] А. Ф. Рязанов в указанной книге отмечал: «Мухамед (т. е. Махамбет Утемисов — *М. Ф.*) был душою восстания. Владея русской и татарской грамотностью, он писал воззвания по орде, послания Джангеру-хану и русскому правительству от имени Исатая и народа. Он разъезжал по аулам, агитировал, поднимал народ против Джангера и первый подтолкнул Исатая на путь решительной вооруженной борьбы». (Цитир. изд., стр. 18).

[240] Дело Оренбургской Пограничной комиссии за 1836 — 1839 гг. «О возмущении Исатая». Цитир. по книге А. Ф. Рязанова, стр. 51. Подчеркнуто нами. — *М. Ф.*

Тем не менее Даль, несомненно, оказал известное положительное влияние на правильное понимание причин казахского восстания 1836 — 1838 гг. В архивных делах Оренбургского губернатора, относящихся к этому периоду, сохранился интересный документ — письмо Перовского к Джангеру-хану. В этом письме, совершенно не гармонирующем ни по содержанию, ни по стилю с бумагами военно-чиновничьего делопроизводства того времени, верно характеризуется образ управления Джангер-хана и его приспешников из эксплоататорской верхушки казахских аулов, вскрывается антинародный характер их господства, основанного на насилиях и ограблении народа. Письмо это не потеряло исторического значения как документ, подчеркивающий классовый характер стихийного массового протеста порабощенного казахского народа. Содержание письма таково:

«Сколько не виновен Исатай Тайманов и его сообщники, но преступление их объясняется некоторым образом дошедшими до меня сведениями, которые тем более заслуживают вероятия, что без повода и без причины люди эти никогда бы не отважились на действие, влекущее для них такие последствия. Мне сделалось известным, что не только приверженцы Исатая, но и большая часть киргизов доведены до крайности самоуправством султанов, биев и старшин, употребляемых вами по управлению ордой. Не говоря здесь о других предметах, которые будут строго исследованы в свое время, упомяну только о несоразмерных поборах, производимых с киргизов под разными предлогами. Эту статью желаю я привести в ясность немедленно, а потому покорнейше прошу, ваше высокостепенство, теперь же доставить мне сведения: в каком количестве собираются с киргизов весной и осенью бараны, быки и лошади; какие еще бывают сборы в продолжении года по распоряжению вашему и прямо от султанов; кто на это употребляется и какая часть сбора причитается вам и сколько сборщикам; сколько платят киргизы за место кочевания и сколько собирается с них за камыши при Каспийском море?»[241]. Конечно, виновники отмеченных злоупотреблений не были привлечены к ответственности.

А. Ф. Рязанов, цитируя этот документ, неправильно его комментировал и безосновательно приписывал Перовскому сочувственное отношение к руководителям восстания 1836 — 1838 годов: «Материалы о восстании Исатая, собранные в канцелярии воен. губернатора и копившиеся у самого Перовского, убедили его в том, что для этого восстания у народа были глубокие основания; обращаясь с лицемерным воззванием к потерпевшему поражение народу, Перовский в своей душе чувствовал себя вполне правым по отношению к руководителям восстания, которым он грозил суровым наказанием, но иначе он поступить не мог, как военный губернатор. Во всяком случае восстание Исатая открыло перед его

[241] Дело Оренбургского губернатора за 1836 — 1838 гг., л. 414.

глазами всю ту беспощадную эксплоатацию, насилия и грабежи, которым подвергался народ от своих «законных», назначенных русским правительством, властей...»[242].

На самом деле приведенный выше документ характеризует отношение к казахскому народу не Перовского, а Даля, который был автором этого письма. Такое предположение более чем вероятно[243]. П. Бартенев на основании личного ознакомления с архивными материалами утверждал: «Он (Даль. — *М. Ф.*) был настоящим секретарем Перовского, и мы видели целые томы черновых докладов, записок, писем и проч., исписанных рукою Даля по указаниям тогдашнего его начальника».[244] Отлично знакомый с положением казахского народа и лично связанный с его передовыми представителями, писатель соответствующим образом информировал Перовского и как чиновник особых поручений составил это обращение, противоречащее духу официальной самодержавной политики. Неслучайно письмо не повлекло за собою никаких практических последствий.

Приведенные документы свидетельствуют, что Даль глубоко знал жизнь казахских аулов, активно участвовал в развитии русско-казахских отношений, чем и завоевал доверие Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.

Неопубликованные материалы, обнаруженные нами в архиве Даля, свидетельствуют, что в 30-е годы он критически относился к деятельности царских чиновников и даже пытался в печати обличать их произвол, пренебрежительное отношение к нуждам местного населения. Так, в рукописи статьи «Татарщина» Даль с возмущением описывал, как при попустительстве царских чиновников разорялись целые поселения в Оренбургском крае, а уголовно наказуемые преступления помещика-самодура предавались полному забвению[245]. Понятно, что такая обличительная статья по цензурным условиям не могла быть тогда напечатана, ибо она вскрывала типичные пороки бюрократического колонизаторского аппарата в Оренбургском крае вообще.

Большое значение для ознакомления с казахской жизнью имело участие Даля в Хивинском походе, предпринятым Перовским в 1839 — 1840 гг. Движение военной экспедиции, в которой, помимо Даля, участвовали и другие русские ученые-исследователи, происходило по казахстанской территории. Русским оказыва-

---

[242] А. Ф. Рязанов. Восстание Исатая Тайманова, стр. 78.

[243] Известное влияние В. И. Даля «на политику Перовского в казахской степи» отмечает Е. Бекмаханов в книге «Казахстан в 20 — 40-е годы XIX века», КазОГИЗ, Алма-Ата, 1947, стр. 242.

[244] П. Б. — В. И. Даль. Русский архив, 1872 т. X, стр. 2027. Подобные официальные материалы, написанные рукою Даля, довелось видеть и автору данной работы в ленинградских архивохранилищах.

[245] В. И. Даль. Татарщина. Рукопись на 12 стр. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив Даля.

ли деятельное содействие в трудном походе казахи в качестве проводников[246].

Нам удалось обнаружить весьма любопытное письмо казахского султана Исмаила Урманова к Далю, посланное накануне Хивинского похода. Это письмо, написанное арабским шрифтом на казахском языке, показывает, каким авторитетом и уважением пользовался писатель и ученый в казахской среде своего времени, какую заинтересованность в предпринимаемом походе проявляли в казахском кочевом обществе. А заинтересованность эта объяснялась тем, что русские войска в случае удачи могли обезопасить и оградить казахские аулы от разорительных набегов кокандских и хивинских ханов.

Исмаил Урманов писал:

«Милостивый государь

Владимир Иванович!

Я известился, что Вы изволите собираться в дальний поход, почему полагаю, что для сего Вам нужны надежные лошади; покорнейше прошу Вас как давнишнего знакомого лошадей ни у кого не брать, а сколько Вам оных нужно требуйте от меня. Позвольте мне через сие доказать Вам искреннюю мою преданность, чем премного меня обяжете. Я также имею желание участвовать в сим походе»[247].

О Хивинском походе Даль в 1867 г. опубликовал интересные письма, представляющие документально точную летопись этого тяжелого зимнего похода и содержащие ценные наблюдения о казахских степях. Неоднократно в своих письмах, написанных в походной обстановке, Даль с благодарностью отмечал сочувственное отношение казахского кочевого населения к участникам военной экспедиции и содействие в обеспечении их скотом, фуражом, топливом. 5 декабря 1839 г. из Биштамака Даль сообщал: «Сено покупали у кайсаков, которые по Илеку удивительно много накосили сена; дрова местами тальник и другой кустарник, а в помощь ему и кизечек, коими нас также иногда снабжали аулы»[248]. В письме от 8 декабря 1839 г. указывалось, что «кайсаки все ко-

---

[246] См. Описание экспедиции в Хиву, произведенной под начальством генерал-адъютанта Перовского, в 1839 году. Сб. «Русский Туркестан», СПб. 1872, вып. III, приложения, стр. 1 — 14. Здесь подробно описаны подготовка, проведение и причины неудачи Хивинского похода 1839—1840 гг. При участии Даля еще в 1840 г. в Оренбурге была издана на немецком языке брошюра о неудачной Хивинской экспедиции (Bemerkungen über Zimmermanns Entwurf des kriegsteaters Russlands gegen Chiva, Orenburg, 1840).

[247] Исмаил Урманов. Письмо к В. И. Далю с Нижне-Уральской линии от 6 октября 1839 г. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив Даля.

[248] В. И. Даль. Письма к друзьям из похода в Хиву 1839 года. Русский архив, 1867, № 3, стр. 407.

чуют спокойно на своих местах, ничего не боятся и доселе их никто не тронул волоском»[249]. 23 декабря 1839 г. помечено письмо с берегов реки Эмбы, в котором рассказывается, как местные казахи дружелюбно встретили русских солдат и изъявили желание помочь им скотом[250]. В этом же письме Даль с возмущением писал о том, как хивинцы «зверски замучили и разрезали по частям одного кайсака»[251].

Как страстный фольклорист и этнограф, Даль в письме от 27 декабря 1839 г. с восторгом описывал талантливого казахского сказителя Саната, которого при содействии писателя окружили во время похода заслуженным вниманием. Даль писал, давая анализ мастерства сказителя и поэтических особенностей казахского героического эпоса:

«...Заставили Саната рассказывать сказку, услышав случайно, что он большой мастер этого дела. Что же вы думаете? Право мы изумились; ждали какого-нибудь вздору, а Санат мой высыпал нам целую поэму о Чур-батыре, Ногайце, в презамысловатых стихах, с бесконечным ожерельем прибауток, с рифмами, с песнями, с припевами, складно, ладно и причудливо. Это большая редкость между Кайсаками; у них обыкновенно не найдете в народной поэзии воспоминаний былевых, а песнопевцы слагают стишки свои, по четыре в строфе, наобум (т. е. импровизируя. — *М. Ф.*), помня немногие из них наизусть. Чур-батырь непременно будет переписан, от слова до слова, и переведен на русский язык. Я далеко не все понимал, но удивился необыкновенному сходству духа этой сказки и самого рассказа с русскими богатырскими сказаниями»[252].

В январских письмах 1840 г. Даль сообщал об участии казахов-разведчиков в военных операциях[253], описывал пустынный и печальный пейзаж казахской степи[254].

На протяжении всего похода (с 18 ноября 1839 г. по 28 февраля 1840 г.) Даль проводил систематические термометрические наблюдения в Зауральской степи. Сохранившиеся в архиве таблицы Даля дают отчетливое представление об исключительных трудностях Хивинского похода в зимних условиях. В таблицах зарегистрировано с 20 ноября по 31 декабря 10 буранов, в январе — 7 и в феврале — 8 буранов очень большой силы. «Жестокий, сильный, порывистый», — такими эпитетами определял Даль характер степных буранов, необычных и, конечно, непредвиденных в пустынном, необжитом районе. Уже через три дня после начала по-

---

[249] Там же, стр. 418.
[250] Там же, стр. 420.
[251] Там же, стр. 421.
[252] Там же, стр. 429—430.
[253] В. И. Даль. Письма к друзьям из похода в Хиву 1839 года. Русский архив, 1867, № 4, стр. 613.
[254] Там же, стр. 619. См. также письмо В. И. Даля к академику Г. П. Гельмерсену. Записки Академии наук, 1873, т. XXII, стр. 267—274.

хода температура понизилась до минус 18 — 20 градусов, а затем упала до минус 30 градусов. В течение всего похода только изредка выпадали дни с температурой 9 — 10 градусов мороза. В походных колоннах начались массовые заболевания, в результате которых умерло в степи 608 человек, т. е. свыше 10 проц. всех участников экспедиции[255].

С неоспоримой документальной достоверностью на основании рукописи, написанной рукою Даля и обнаруженной нами среди его архивных материалов, теперь можно установить, что именно он являлся автором обращения к участникам похода от имени Перовского[256]. Обращение было обнародовано в тяжелые дни, когда выяснилось, что предпринятый поход потерпел полную неудачу, и встала трудная задача организованного возвращения всех отрядов из степи. Содержание этого примечательного документа показательно не только для характеристики трудностей экспедиции, но и для понимания демократических настроений самого автора в годы пребывания в Казахстане. Даль писал, выразительно оттеняя черты стойкости и выносливости русских солдат и офицеров:

«Военные товарищи!

...Вы одолевали все трудности этого необыкновенного похода; суровая зима, жестокие морозы и бураны вас не устрашили; вы готовы и теперь итти вперед, бороться со всеми невзгодами зимнего похода и побеждать их, покуда на это станет сил ваших; запасы наши о сию пору... обильны, — но мы лишены способов подвозить их, потому что небывалые здесь снега завалили путь наш, убыль в верблюдах со дня на день возрастает, а оставшиеся падают под ношами своими, отощав от бескормицы среди непроходимых снегов.

...Не унывайте, товарищи, от первой неудачи, а мужайтесь на этот раз терпением и стойкостью на путь обратный, не менее трудный. Спасибо вам за усердие ваше и за добрую волю; поставлю... священным долгом свидетельствовать... о готовности вашей, мужестве и твердости в испытаниях, ...(о) необычайных военных трудах, почти превосходящих человеческие силы»[257].

Живая связь с массой разноплеменных участников похода и явилась источником демократического духа и тона приведенного документа, подчеркнутых даже таким совершенно необычным обращением, как «военные товарищи». Неудивительно, что на

---

[255] Таблицы Даля из времени Хивинского похода. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля.

[256] В работах о Хивинском походе авторство этого обращения приписывалось, например, штабс-капитану Никифорову на основании неточных воспоминаний Г. Н. Зеленина, которому в 1839 — 1840 гг. было 19 лет (см. И. Н. Захарьин (Якунин). Хива, изд. П. П. Сойкина, СПб, 1898, стр. 119 — 120).

[257] Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля.

участников экспедиции содержание обращенного к ним призыва произвело незабываемо волнующее и воодушевляющее впечатление. Хивинский поход обогатил Даля новыми материалами.

Вообще богатый жизненный опыт придавал реалистические черты, гуманистическое звучание лучшим литературным произведениям Даля на казахские темы, повышал их познавательную ценность. Жизнь и литература сливались у Даля в одно целое, что и являлось выражением пушкинских традиций в художественном творчестве Даля.

Белинского особенно восхищали в Дале черты бывалого человека, изъездившего в частности обширный Оренбургский край вдоль и поперек. Акцентируя идейно-литературную значительность далевских повестей, лучшей среди которых, бесспорно, явилась одна из его ранних повестей «Бикей и Мауляна», великий критик очень сочувственно писал:

«Из новых нувеллистов, в начале тридцатых годов, явился даровитый казак Луганский, с своими оригинальными рассказами на русско-молодецкий лад, которые он потом мало-помалу начал оставлять для повести лучшего тона и содержания. Как сказки, так и повести Луганского были плодом сколько замечательного дарования, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многостороннею житейскою опытностью автора, человека бывалого и коротко ознакомившегося с бытом России почти во всех концах ее».[258] Белинский подчеркивал эпитет «бывалого» и противопоставлял Даля-реалиста, знатока описываемой им жизни, Марлинскому, который «гарцовал в журналах своими трескучими повестями до 1836 года».[259]

В пристальном изучении казахстанской действительности на протяжении ряда лет коренятся истоки верных представлений русского писателя о казахском народе, каким он был в условиях кочевого хозяйства и господства патриархально-феодальных отношений. Даль увидел и правдиво показал затаенные силы, духовную одаренность, жизнеспособность казахского народа, но и не поддался идеализации его отсталости.

Случайная встреча с кочевыми казахскими семьями на берегу Аму-Дарьи могла, например, у Вамбери вызвать восторг по поводу мнимой красоты кочевья и позволила ему нарисовать идиллическую сценку, подобных которой нет в произведениях более глубокого знатока казахской жизни Даля. Только поверхностное восприятие и могло привести Вамбери к оправданию

---

[258] В. Г. Белинский. Русская литература в 1843 году. Собр. соч. в трех томах, т. II, стр. 583 — 584. Подчеркнуто нами. — *М. Ф.*

[259] Там же, стр. 583. Бывалым человеком называл Даля и А. Пыпин, вообще относившийся к нему недружелюбно. См. Вестник Европы, 1873, № 12, стр. 885.

своеобразной «философии» кочевого образа жизни, обрекавшего казахский и другие народы Средней Азии на прозябание, на многовековую отсталость. Вамбери писал:

«В течение десяти часов, в соседстве нашем пребывали три Киргизские семьи; они по очереди подходили к нам не больше как на три часа и потом опять уходили дальше, и ничего не могло бы мне дать более ясного понятия о кочевой жизни; когда я впоследствии спросил у одной Киргизской женщины о причинах, побуждающих их перекочевывать с места на место, она отвечала со смехом: «Мы не так ленивы, как вы, солла! нам не усидеть по целым дням на одном месте! Человек должен двигаться; потому что посудите сами: солнце, месяц, звезды, вода, животные, птицы, рыбы — все движется, только земля и мертвые остаются на месте!».[260]

Нетрудно уловить в этих странных, по крайней мере, восторгах Вамбери скрытое чувство презрения «цивилизованного» человека к «наивным» кочевникам. И не звучит ли в остроумном ответе киргизки насмешка над самодовольным чужестранцем?! Благородство Даля в показе казахской жизни заключается в том, что он устранял эту искусственную дистанцию между европейцем и жителями азиатской степи, искал и находил в последних высокие человеческие черты, помыслы, стремления.

Английские и американские путешественники, интерес которых к Средней Азии диктовался исключительно колонизаторско-захватническими стремлениями их буржуазных хозяев, всячески пытались отрицать цивилизующую роль русской культуры по отношению к азиатским народам, в частности к Казахстану. Английский автор книги «Россия и Азия», Краусс, например, доказывал, что со стороны России «не было сделано ни одной попытки к тому, чтобы содействовать благосостоянию народностей, время от времени добавляемых к населению империи».[261] Краусс намеренно не желал видеть плодотворной деятельности передовой русской интеллигенции, тем более цивилизующего воздействия трудового русского народа на казахский и другие народы Средней Азии. Не желал этого видеть и американский путешественник Скайлер, который на основании кратковременного пребывания в Ташкенте и мимолетных впечатлений от поездки по Казахстану клеветнически утверждал, что он не встречал русских, «склонных к ознакомлению с историей, археологией и производительными силами края, или же интересующихся так или иначе жизнью окружающего их народа».

Эти необоснованные утверждения относятся к концу XIX века, когда уже налицо были факты близких идейных связей поэта-петрашевца С. Ф. Дурова, Ф. М. Достоевского, Г. Н. По-

---

[260] Арминием Вамбери. Путешествие по Средней Азии, совершенное в 1863 году, стр. 80.

[261] Krausse, Alexis. Russia in Asia. A record and studu. 1558 — 1899. London, 1899, p. 141.

танина, П. П. Семенова-Тяньшанского, А. Н. Бекетова и Д. И. Менделеева с Чоканом Валихановым, Е. П. Михаэлиса и Н. И. Долгополова с Абаем Кунанбаевым, представителей оренбургской интеллигенции с Ибраем Алтынсариным, когда в казахских переводах устно бытовали произведения Пушкина, Лермонтова и Крылова.

Тем более интересна культурно-просветительная деятельность Даля в 30-е годы XIX века, непосредственно связанная с Казахстаном. Ярким выражением этой деятельности явилось его участие в организации «музеума естественных произведений Оренбургского края». Это был первый казахстанский краеведческий музей, в котором сто пятнадцать лет назад стали сосредоточиваться экспонаты по истории и этнографии казахского народа. Таким образом, были заложены основы нынешнего Центрального Государственного музея Казахской ССР в Алма-Ате.

Возрожденный казахский народ с признательностью относится к памяти Даля как создателя этого культурного очага. «За 8 лет пребывания в Оренбурге, — пишет директор музея, кандидат исторических наук А. М. Жиренчин, — он (Даль. — *М. Ф.*) много сделал для укрепления этого музея, собирая первые его экспонаты. Помимо музея, Даль собрал и исследовал ряд ценных этнографических материалов о киргиз-кайсаках. Так... собирались экспонаты казахского музея, ныне ставшего одним из научно-просветительных учреждений республики, сокровищницей культурного наследия казахского народа».[262]

Непосредственно по инициативе и при руководящем участии Даля в конце 30-х годов в Оренбурге организовалась группа русской интеллигенции, которая еженедельно проводила научные заседания, посвященные изучению и обсуждению вопросов истории и этнографии казахского народа, краеведения, археологии, фольклористики, медицины и т. д. В неопубликованном письме к своей сестре от 27 февраля 1838 г. Даль сообщал:

«Не помню писал ли я тебе о наших четвергах... Мы собираемся по четвергам поочередно у двух, у меня и генерала Генса... Тут один говорит об истории, другой — о кайсаках и башкирах, третий — о сравнительной анатомии, четвертый — о Бородинском сражении, пятый — о расколах...»[263]

Все научные заседания, как писал Даль, проходили очень хорошо. Участники этих «четвергов» подготавливали даже издание сборника своих исследовательских работ. По сути дела таким путем создавались необходимые предпосылки для организации местного научного общества, которое и было создано значительно позднее в форме Оренбургского отдела Русского географиче-

---

[262] А. М. Жиренчин. Из истории Центрального музея Казахстана. Вестник Академии наук Казахской ССР, 1947, № 8 (29), стр. 58.

[263] В. И. Даль. Письмо к П. И. Шлейден от 27 февраля 1838 г. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля.

ского общества. Об одном только сожалел Даль, жаждавший шире развернуть научно-просветительную работу в отдаленном и отсталом крае, — это о том, что в Оренбурге тогда насчитывалось «маловато дельного народу».[264]

Даль выступал в этот же период и в качестве фольклориста. Записи фольклорных произведений, сделанные Далем в Оренбургской губернии, использовались им в текстах собственных произведений. Так, в большом рассказе «Где потеряешь, не чаешь; где найдешь, не знаешь» рисуются народные певцы, исполняющие песни, бытовавшие в Оренбургской губернии. Особенно любопытно содержание их второй песни, связанной с характерными среднеазиатскими событиями далекого прошлого. Старик-певец повествовал: «Как за той-то, за той, за Дарьей рекой, татары-то полон делят: кому злато, кому серебро достанется...» Дальше в песне рассказывалось, как в плену встретились русская мать с дочерью, а сам певец в заключение заметил: «Сказка складка, а песня быль; уж ты там что хочешь говори, а песня быль».[265]

В 1841 г. Даль выехал из Оренбурга в Петербург, где до 1849 г. служил в министерстве внутренних дел секретарем министра Л. А. Перовского. Одновременно Даль продолжал научные и литературные занятия. Вокруг него группировались многие ученые, писатели, художники, представители военных кругов. Еженедельно по четвергам, как и в Оренбурге, они собирались на квартире Даля. Здесь возник и оформился проект создания Русского географического общества, сыгравшего в частности значительную роль в изучении и исследовании Казахстана. Как отмечал П. П. Семенов, членами-учредителями Русского географического общества в числе других были «лучшие в то время двигатели русской статистики и этнографии: Арсеньев, Кеппен, Левшин и Даль».[266] Организованные Оренбургский отдел (1868 г.) и Семипалатинский подотдел (1901 г.) Русского географического общества явились первыми научно-исследовательскими ячейками на далеких окраинах России. В деятельности этих филиалов Географического общества принимали активное участие не только представители русской интеллигенции, но и первые общественные

---

[264] В. И. Даль. Письмо к П. И. Шлейден от 9 июня 1838 г. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля.

[265] В. И. Даль. Где потеряешь, не чаешь; где найдешь, не знаешь: Ключ, лад и строй песни. Полн. собр. соч., СПб — М., 1897 — 1898, т. I, стр. 205 — 211.

[266] Речь П. Семенова в годовом собрании Русского географического общества 5 февраля 1892 г. Известия Русского географического общества, 1892, т. XXVIII, вып. I, стр. IV. См. также П. П. Семенов. История полувековой деятельности Русского географического общества. 1845 — 1895. СПб, 1896, ч. 1, стр. 2 — 4. В своей автобиографии Даль отмечал: «Русского Географического общества состою членом-учредителем, нас всего было 12. Оно присудило мне за словарь Константиновскую медаль». Записки Академии наук, 1873, т. XXII, стр. 261.

деятели из казахской среды. В 1857 г. действительным членом РГО был избран Чокан Валиханов.

В кипучей столичной жизни Даль не забывал о Казахстане. По воспоминаниям друзей писателя, выясняется, что он в 40-е годы вел записки, начатые еще в Оренбурге. В этих обширных по объему мемуарах значительное место уделялось описанию жизни казахского народа и характеристике русско-казахских отношений. Писатель П. И. Мельников-Печерский (1819 — 1883) вспоминал:

«И в Оренбурге при В. А. Перовском, и в Петербурге при графе Л. А. Перовском, В. И. Даль успевал уделять время на ведение записок обо всем, что происходило вокруг него, обо всех делах, в которых он принимал участие, как секретарь и доверенное лицо обоих Перовских. Какой драгоценный материал для истории! Но ему не суждено было уцелеть. Уже более полуторы стоп бумаги написано было бисерным почерком Даля. Вслед за описанием Оренбургского края и любопытным сказанием о быте уральских казаков, отбывании ими службы, рыболовстве и отношениях к киргизам, в записках Даля описана была киргизская степь, помещено было множество рассказов русских пленников, вышедших из Хивы, а равно и торговцев, посетивших Бухару, Ташкент и Кокан; рассказывалось об экономическом устройстве башкир, описан каждый кантон башкирский. Тут же находилось описание добывания соли на Илецкой Защите, золотых приисков около Златоуста, рыбных ловов на Урале, Эмбе и на Каспийском море; записаны все происшествия (1832-41), случившиеся в Оренбургском крае, все сношения В. А. Перовского с среднеазиатскими независимыми владетелями и в заключение был подробно описан Хивинский поход 1839-40 годов».[267]

Мемуарные записи Даля, свидетельствующие о его глубоком и долго сохранившемся интересе к Казахстану, могли бы представить большое историко-познавательное значение, но, к сожалению, они были автором сожжены. В условиях усиления николаевской реакции в конце 40-х годов далевские «четверги» вызвали подозрение, полицейские доносы. Далю пришлось объясняться по этому поводу с министром внутренних дел и решиться на уничтожение материалов, в которых содержалось немало резких и откровенных характеристик царской колонизаторской политики, ее вдохновителей — видных сановников того времени.

Но главное и наиболее ценное, что было сделано Далем для Казахстана, — это, несомненно, его литературные произведения на казахские темы. Друг великого Пушкина высту-

---

[267] П. И. Мельников (Андрей Печерский). Владимир Иванович Даль. Цитир. изд., стр. VI — VII. Под влиянием Даля, очевидно, казахстанские мотивы введены Мельниковым-Печерским в свой роман «На горах», где Хлябин рассказывает о том, как он попал в хивинское рабство и бежал оттуда через казахскую степь (см. А. Печерский. На горах. Русский вестник, 1878, № 5, стр. 163 — 176).

пил одним из пионеров реалистической разработки в русской литературе казахской тематики. Казахстанские повести и очерки Даля — свидетельство его уважения и внимания к бесправному некогда народу.

Утверждая реалистические основы разработки казахстанской тематики в русской литературе, Даль исходил из обязательной необходимости обстоятельного изучения жизни, социально-экономических отношений, истории, особенностей национального быта казахского народа. Сознание ответственности писателя за правдивое изображение своеобразной казахской действительности, исторически сложившихся национальных характеров делало Даля принципиальным противником всяческих попыток использования казахского материала для произвольного романтико-экзотического обыгрывания в литературных произведениях. Особенный интерес в этом отношении представляет программное неопубликованное письмо Даля к В. А. Жуковскому из Оренбурга, датированное 30 мая 1838 г.

Известный поэт-романтик В. А. Жуковский, старый друг Даля, незадолго до этого письма побывал в Оренбургском крае, совершил поездку по казахским степям и весьма заинтересовался поэтическими богатствами казахского народного творчества. У Жуковского возникло желание использовать какой-нибудь из сюжетов устной национальной поэзии для создания собственной поэмы или баллады романтического типа. В связи с этим он и просил Даля прислать ему соответствующие фольклорные записи. Но Даль не выполнил просьбы знаменитого в ту пору поэта и мотивировал это в указанном письме, которое приводится ниже с некоторыми купюрами:

«Если бы Вы, Василий Андреевич, знали, с каким глубоким и священным чувством я пишу это первое к Вам письмо, — то Вы, конечно, не осудили бы меня за пробел, которым начинаю письмо это, вместо обычного, общепринятого: «Милостивого государя». Позвольте мне открыть душу перед Вами: условное и холодное начало это пугало и студило меня; между тем, однако же, не ставало у меня смелости и духу писать так, как просила душа, мне казалось это не прилично — и вот, частию по крайней мере, почему я остался виноват перед Вами, не писал вовсе, день уходил за днем и ушло дней уже много.

Я обещал Вам основу для местных, здешних, дум и баллад, уток[268] был бы Ваш, а с ним и ваша отделка. Я не забывал этого обещания может быть ни одного дня, со времени Вашего отбытия, а между тем — обманул. Но дело вот в чем, разсудите меня и собою сами: надобно дать рассказу цвет местности, надобно знать быт и жизнь наро-

---

[268] «Уток, нитка, которую ткут: она намотана на цевку, шпульку, вставлена в челнок, идет поперек основы и перебором образует ткань» (В. И. Даль. Толковый словарь, т. IV, Гослитиздат, М., 1935, стр. 535).

да, мелочные его отношения и обстоятельства, чтобы положить резкие тени и блески света; иначе труды Ваши наполовину пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсакскою, уральскою,—но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье. А каким образом могу я передать все это на письме? Я начинал несколько раз, у меня выходила предлинная повесть, а между тем далеко не все было высказано, что могло быть нужным и пригодным: Вам нельзя пригонять картины своей по моей рамке, а мне без рамки нельзя писать и своей! На словах, это может сделаться, Вы бы расспрашивали о том, что Вам показалось бы нужным, а без этого греха я на душу не возьму! Может быть я ошибаюсь, может быть меня одолевает мономания народности, но ей, ей я не в состоянии сделать дело это наполовину, я бы упрекал себя во всем, что могло бы показаться недостаточным или неверным; Вашими стихами надобно обрабатывать только вещи по содержанию ценные и яркие.

...Часто, часто вспоминаем мы благодатное посещение наследника, часто вспоминаем Вас. И Вы, и Пушкин были в Оренбурге, в этой конечной точке оседлого быта России, где свет заключен границами и оттуда нет дороги никуда, кроме в Хиву или Бухару, или назад в Россию.

...С душевным уважением и глубочайшим почтением, остаюсь по смерть верным и преданным Вам

В. Даль».[269]

При всем уважении и даже преклонении перед авторитетом Жуковского, которому Даль был лично обязан очень многим, он все же решительно отказался поставлять ему местный национальный материал для романтических произведений. Далю претила возможность использования казахского народного творчества в романтическом стиле Жуковского, увлекавшегося в то время своеобразно понятой им народностью, вернее литературно-стилизованной игрой в народность. Разумеется, Даль был не только знаком с резкой оценкой Белинского псевдонародности дворянского романтика Жуковского, но и отчасти руководствовался направляющими указаниями великого критика в своей творческой деятельности. А Белинский писал:

«В самом деле, это стремление к народности весьма замечательное явление. Не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений которого всегда был прикован к туманному Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в

[269] В. И. Даль. Письмо к В. А. Жуковскому из Оренбурга от 30 мая 1838 г. Архив Института русской литературы в Ленинграде Академии наук СССР. Архив В. И. Даля. Подчеркнуто нами.—*М. Ф.*

сталь, своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очарованные замки — и пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слыхать и видом не видать, как не в ладу с русскими сказками греческий или немецкий гекзаметр?.. Но не будем слишком строги к этому заблуждению могущественного таланта, увлекшегося духом времени: Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг: мы больше не в праве ничего ожидать от него».[270]

Идейно-творческий принцип народности, за который боролся Белинский и которому стремился следовать Даль, совершенно не походил на принцип «народности» в поэтической практике Жуковского. В стиле романтизма Жуковского, открыто пренебрегавшего изучением действительности, не оставалось места для показа национальных особенностей избираемых им героев. Касаясь баллады Жуковского «Вадим», составляющей вторую часть огромной баллады «Двенадцать спящих дев», Белинский отмечал: «Место действия этой баллады в Киеве и Новгороде; но местных и народных красок — никаких».[271] Белинский же, отстаивая реализм в русской литературе, утверждал, что «вообще, ничего не чужда до такой степени поэзия Жуковского, как русских национальных элементов».[272]

Вот почему Даль, не согласный «с односторонне-мечтательным направлением» (Белинский) Жуковского, с его фантастикой, игнорировавшей национально-историческую колоритность в показе жизни и людей, не хотел, чтобы появились произведения только по названию казахские. В борьбе с еще распространенными тогда в литературе романтическими представлениями, вкусами и понятиями, особенно в области работы над изображением жизни нерусских народов, Даль отстаивал реалистический, единственно эффективный способ ее показа. В противовес Жуковскому он и требовал: «Надобно дать рассказу цвет местности, надобно знать быт и жизнь народа, мелочные его отношения и обстоятельства, чтобы положить резкие тени и блески света». Этому эстетическому положению Даль сознательно следовал в творческой деятельности в оренбургский период своей жизни.

Для Даля, как писателя вообще, и как автора цикла произведений на казахстанские темы, характерен очерковый стиль. Он всегда в лучших своих произведениях основное внимание сосредоточивал на добросовестной передаче материала живой действительности, на зарисовках характерных типов из народной среды, на передаче лично виденного и слышанного. Останавливаясь в обзоре русской литературы за 1846 год на произведениях Даля

---

[270] В. Г. Белинский. Литературные мечтания. Соч. в трех томах, т. I, стр. 76 — 77.

[271] В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Соч. в трех томах, т. III, стр. 242 — 243.

[272] Там же, стр. 259.

(«Небывалое в былом или былое в небывалом») и Григоровича («Деревня»), Белинский указывал: «Оба эти произведения имеют между собою то общее свойство, что они интересны не как повести, а как мастерские физиологические очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажем, чтобы собственно повесть Луганского не имела интереса; мы хотим только сказать, что она гораздо интереснее своими отступлениями и аксессуарами, нежели своею романтическою завязкою... Вообще в повестях Луганского всего интереснее подробности...»[273] Белинского неизменно восхищал «необыкновенный талант» Даля в жанре физиологического очерка и то, что он «не имеет соперников в этом роде литературы».[274]

Оценка Белинского подтверждается и критической статьей И. С. Тургенева в связи с изданной в том же 1846 г. книгой «Повести, сказки и рассказы казака Луганского». Тургенев называл Даля «писателем действительно народным» и указывал, что своим своеобразным талантом он владел мастерски. «Мы употребляем здесь слово «народный», — пояснял Тургенев, — не в том смысле, в каком оно может быть применено к Пушкину и Гоголю, — но в его исключительном, ограниченном значении. Для того, чтоб заслужить название народного писателя в этом исключительном значении нужен не только личный, своеобразный талант, сколько сочувствие к народу, родственное к нему расположение, нужна наивная и добродушная наблюдательность. В этом отношении никто, решительно никто в русской литературе не может сравниться с г. Далем».[275]

И. С. Тургенев, развивая мысль Белинского, устанавливал, что Далю «не всегда удаются его большие повести», потому что «связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно цельный характер — не его дело». Даль превосходен там, где он «пишет с натуры».[276] Этой манере Даля соответствует и его язык, «чисто русский, немножко мешковатый, немножко небрежный (и нам крайне нравится эта мешковатость и небрежность), но меткий, живой и ладный».[277]

Действительно, сила Даля заключалась в его наблюдательности, в его умении остро видеть, слышать, запоминать мельчайшие подробности и детали. Через десять лет после Белинского и Тургенева Чернышевский также сочувственно отзывался об «известной наблюдательности» Даля.[278] Но здесь же таилась и сла-

---

[273] В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1846 года. Избр. соч., Гослитиздат, М., 1947, стр. 562.

[274] Там же, стр. 563.

[275] И. С. Тургенев. Критические статьи и речи. Полн. собр. соч., т. X, 4-е изд., СПб., 1897, стр. 385.

[276] Там же, стр. 387.

[277] Там же, стр. 386.

[278] Н. Г. Чернышевский. Заметки о журналах. Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 670. Чернышевский отлично знал произведения Даля, оперировал цитатами из них и отмечал, что ему подражали некоторые писатели (см. там же, стр. 435 — 441).

бость художественного метода Даля. Он не умел подниматься до больших и глубоких идейных реалистических обобщений. Уже в 60-е годы это справедливо отмечалось на страницах революционно-демократической печати. «Современник» в рецензии на картины «Из русского быта» Владимира Даля указывал, что последний «очень много знает о русском народе, зато рассудить ничего не умеет».[279] Поэтому неизбежно в произведениях Даля, в том числе и в повестях, рассказах, очерках на казахские темы, появлялись натуралистические элементы.

В повести «Бикей и Мауляна», как и в других казахстанских произведениях Даля, легко обнаруживаются главные черты его литературного стиля, отмеченные Белинским, Тургеневым и Чернышевским. Автор выступает умным наблюдателем, полным искреннего сочувствия к казахскому народу, этнографом-очеркистом, поражающим читателя и феноменальной памятью, и добросовестным изучением нового национального материала. Он и сам лично считал необходимым указать, что, например, лучшая его повесть о казахах «Бикей и Мауляна», вообще его первая оригинальная повесть после издания «Русских сказок»,[280] достоверна, не плод художественной фантазии, а написана по рассказам живых свидетелей и личным наблюдениям. Не ограничиваясь ссылками на султана Куляба и некоего знакомого, Даль вводит в текст повести, написанной под воздействием ярких впечатлений от пребывания в Оренбургском крае, охватывавшим тогда и значительную часть территории нынешнего Казахстана, такое пространное рассуждение:

«Приступая теперь к новой главе рассказа, который, по многим отношениям, заслуживает, как происшествие, быть памятным, не знаю, как быть: представить ли читателям моим отгадывать, к которому из двух разрядов былей или небылиц (под этим названием вышло в свет первое издание некоторых повестей и рассказов сочинителя) принадлежит Мауляна моя, или уже сказать, что говорю не сказку, а голую бывальщину!.. Скажу однако о рассказе моем, на всякий случай вот что: не только все главные черты его взяты с подлинного, бывалого дела, но мне не было даже никакой нужды придумывать ни одного побочного обстоятельства, вплетать какую-нибудь выдумку; все происшествие рассказано так, как было, и было в точности так, как рассказано... Излишне, кажется, было бы переиначивать дело и мудровать над ним, если оно, само по себе, будучи изложено

---

[279] Современник, 1861, № 4, стр. 439.

[280] В. Г. Белинский в 30-е годы отрицательно относился к сказкам Даля, считал, что их автор «просто балагур, иногда довольно забавный, иногда слишком скучный, нередко уморительно веселый и часто приторно натянутый», что эти сказки стилизация под народность (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 73 — 74; см. также стр. 70). Позднее Белинский более тепло отзывался о сказках Даля и постоянно высоко ценил его повести и очерки (см. Собр. соч. в трех томах, т. II, стр. 583 — 584 и 617).

просто и в таком точном виде, как было, представляет цепь действий и последствий, составляющих одно стройное целое, основанное на чудном сплетении умственных способностей и нравственных качеств человека, на обычаях народных, местных...».[281]

Это высказывание Даля может быть признано как его литературно-творческая декларация. Он всегда правдив, документально точен в описаниях, но вместе с тем далек от бесстрастного фотографирования действительности или беспорядочного протоколирования фактов. Даль стремился и достигал определенного успеха в том, чтобы показывать человека в типичных для него социально-бытовых условиях, человека, взятого в его социально-бытовых взаимосвязях.

Героев «Бикея и Мауляны» автор и показывал, как он выражался, не приросшими к родной земле, к национальной среде, подобно степным растениям, но приросшими «корнями духовными, незримыми и не менее глубокими». В повести Даля на казахскую тему проступают те же качества литературного мастерства в показе вообще национальных типов и быта, которые отмечал Белинский в оценке его повести «Похождения Христиана Ивановича Виольдамура и его Аршета». Реалистически намеченные типы, «многие черты вообще петербургской жизни и вообще русской жизни, верно подмеченные, удачно схваченные, множество фигур, искусно обрисованных, — писал Белинский, — ...все это так занимательно, так полно жизни и истины, что от труда г. Луганского нельзя оторваться, не дочитав его до последней строки».[282] Поэтому среди замечательных беллетристических произведений, опубликованных в журналах за 1844 г. автору этой повести Белинский отводил первое место.

В таком отношении к изображению казахского народа кроется историческая достоверность и познавательная ценность далевских произведений. Этнография не заслоняла для писателя подлинной правды жизни, страстей, переживаний и стремлений казахских героев, трагических столкновений между различными представителями населения казахской степи, между теми, кто отстаивал неприкосновенность устоев патриархальщины, и теми, кто под воздействием русских веяний стремился жить по-новому. Описания людей и национального быта, этнографические наблюдения, рассказы местных аборигенов, документы, архивные или даже цифровые справки, фольклорные записи,— все в повествовании Даля составляло определенное единство и подчинялось замыслу повести — показать казахский народ без экзотических прикрас, без взгляда свысока, принижающего его национальное достоинство.

---

[281] В. И. Даль. Бикей и Мауляна. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 264—266. См. там же, стр. 212.

[282] В. Г. Белинский. Русская литература в 1844 году. Соч. в трех томах, т. II, стр. 697 — 698.

Белинский и мастера русской классической литературы высоко ценили работу Даля над казахской тематикой и над материалом быта других национальностей. В статье «Ответ «Москвитянину», подводившей итог напряженной борьбы Белинского со славянофилами, он высмеивал попытку Ю. Самарина объявить «в пользу себя и своего литературного прихода монополию на симпатию к простому народу». Белинский защищал журнал «Современник», против которого выступал Ю. Самарин в славянофильском журнале «Москвитянин», и справедливо указывал, что «литературная партия, на которую они (т. е. славянофилы. — *М. Ф.)* так нападают, сделала что могла для народа и тем показала свое желание быть ему полезною». В плане этой идейной борьбы знаменательно выделение Белинским Даля, как одного из представителей «натуральной» школы и как автора произведений о жизни различных народов России.

«И почему думает критик «Москвитянина», что писатели натуральной школы не знают народа? — спрашивал Белинский и отвечал: — Сошлемся в особенности на того же Даля, о котором мы уже упоминали: из его сочинений видно, что он на Руси человек бывалый; воспоминания и рассказы его относятся и к западу, и к востоку, и к северу и к югу, и к границам и к центру России; изо всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей...».[283] Белинский учитывал рассказы и повести Даля на казахские темы, когда говорил о востоке и окраинных районах России. По Белинскому, заслуга Даля в том, что он одинаково любовно изучал жизнь русского, казахского и других народов родной страны.

В специальной же статье о повестях, сказках и рассказах казака Луганского (Даля), переизданных в 1846 г., Белинский говорил еще более конкретно о необыкновенном для того времени знании жизни различных народов России этим талантливым сторонником реалистического направления в русской литературе. Называя и здесь Даля бывалым человеком, Белинский писал: «И в самом деле, где не бывал он? Он участвовал в польской кампании и хивинской экспедиции, он был в Молдавии, в Валахии, в Бессарабии; Новороссия с Крымом знакомы ему как нельзя больше, а Малороссия — словно родина его...».[284] Вслед за этой характеристикой Даля как знатока многонациональной России следует в статье положительная оценка и непосредственно его казахстанских произведений:

---

[283] В. Г. Белинский. Ответ «Москвитянину». Собр. соч. в трех томах, т. III, стр. 755. Подчеркнуто нами. — *М. Ф.*

[284] В. Г. Белинский. Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Собр. соч. в четырех томах, т. IV, М., 1898, стр. 976.

«Многие рассказы очень занимательны, легко читаются и незаметно обогащают вас такими знаниями, которые, вне этих рассказов, не всегда можно приобрести и побывавши там, где бывал Даль. Так в рассказах: «Майна», «Бикей и Мауляна» знакомит он нас с нравами и бытом кайсаков...».[285]

Белинский подчеркивал художественно-познавательное значение далевских произведений о казахском народе, как равно и о положении цыган в Молдавии («Цыганка») или патриархальных нравах болгарского племени («Болгарка»). Как и в случае с В. А. Ушаковым, Белинский объективно в те же 40-е годы резко противопоставлял Даля автору «Ивана Выжигина». Фаддея Булгарина Белинский в данном случае называл «положительно бездарным писателем», а об его романах говорил, что «в них нет даже признака фантазии, изобретения, творчества, поэзии».[286] Великий критик зло потешался над несуразными выдумками Булгарина в описаниях жизни нерусских народов.[287]

Показательно в отношении оценки социально-художественного значения работы Даля над хорошо изученными материалами жизни различных народов и мнение такого великого русского писателя, как автор «Записок охотника». «Г-н Даль, — писал И. С. Тургенев, — ...провел некоторые годы своей жизни на юге и на востоке России... да, впрочем, где он не бывал! Молдаване, евреи, цыгане, болгары, киргизы — это все ему знакомый народ. Быт их, обычаи, города и селения, разнообразную природу нашей Руси рисует он мастерски, немногими, но меткими чертами... Разве не талант — умение одним взглядом подметить характеристические черты края, народонаселения, уловить малейшие выражения разных — говоря высоким слогом — личностей... Г-н Даль уже занял одно из почетнейших мест в нашей литературе...».[288]

Сказанное о стиле и методе Даля позволяет понять неоспоримые достоинства его казахстанских произведений и объективно отнестись к их отдельным, порой и существенным недостаткам. Конечно, в этих произведениях хотелось бы видеть больше идейно-художественных обобщений, больше до конца типизированных и индивидуализированных национальных характеров, более полное психологическое раскрытие внутреннего духовного мира казахов. Писатель же ограничивался беглыми штрихами в показе чисто внешних проявлений, например, переживаний старика Исяньгильдия при виде трупа сына Бикея: «Лицо Исяньгильдия мгно-

---

[285] Там же. Подчеркнуто нами. — *М. Ф.*

[286] В. Г. Белинский. Воспоминания Фаддея Булгарина, там же, стр. 401 и 402.

[287] Там же, стр. 374.

[288] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч., т. X, стр. 387 — 389. Впервые опубликовано в Отечественных записках, 1846, т. I.

венно изменилось, так что предстоящие, взглянув на него, замолкли: казалось, и здесь, в чертах отцовских, совершился переход от жизни к смерти. Исяньгильдий прошептал, пробормотал что-то, сложив руки, как привык их складывать ежедневно при намазе, молитве и, наклонив голову, дрожащими перстами коснулся бороды своей — и все вокруг затихло; шумная, дикая, голосистая толпа умолкла — отец убил сына, брат брата; казалось, что было происшествие, которое могло заставить опомниться и призадуматься даже и заяицкого степного волка...».[289]

Может быть, Даль ограничивался такими внешними штрихами в острых драматических сценах, потому что героями повести выступали люди из казахской среды? Нет! Вот и в повести «Гофманская капля», рисуя образ русской женщины Тугариной, Даль поступал точно так же: «Грудь ее всколыхалась зыбко не от внешней бури, а от внутреннего волнения... Она, казалось дремала, но веки быстро дрожали. В этом положении она была изумительно хороша и живописна».[290] Очевидно, искусство психологической характеристики для Даля оставалось недоступным.

Но Даль при всех свойственных ему как писателю недостатках бесконечно далек в изображении казахов и их национального быта от антихудожественной манеры Булгарина, у которого в романе «Иван Выжигин» герои, включая и казахских, все «добродетельные и порочные лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков».[291] Мастеру физиологического очерка претило разрисовывать образы из горемычного кочевого народа под тип пастушков и пастушек из пасторалей французских писателей XVIII века, которые иным писателям доставляли «готовый и прекрасный образец для изображения русских крестьян и крестьянок».[292]

Принципиально по творческому методу, по обширности непосредственных наблюдений жизни казахского народа, по длительному и устойчивому интересу к изучению казахской действительности Даль отличается и от Ушакова с его романтическою повестью «Киргиз-кайсак». Отличие это прежде всего в том, что разработка Далем казахстанской тематики явилась значительным шагом вперед в утверждении реалистической традиции показа жизни нерусских народов в русской демократической литературе. Даль давал реалистические типы из казахского общества, хотя и не индивидуализировал их в достаточной степени. Он настолько добросовестен в собирании

---

[289] В. И. Даль. Бикей и Мауляна. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 316.
[290] В. И. Даль. Гофманская капля. Полн. собр. соч., т. I, стр. 262 — 263.
[291] В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Избр. соч., Гослитиздат, М., 1947, стр. 576.
[292] Там же, стр. 577.

и фиксации фактов, событий, особенностей казахской жизни, что, не умея сам сделать необходимые идейно-художественные обобщения, дает основу для таких обобщений вдумчивому читателю и исследователю. К общей оценке «Бикея и Мауляны» можно отнести замечание Белинского, высказанное по одному из произведений Даля, что «автор умел возвысить ее (т. е. повесть. — *М. Ф.*) до мысли и, через мысль, слить ее с поэтическою стороною своего произведения».[293]

---

[293] В. Г. Белинский. Русская литература в 1844 году. Соч. в трех томах, т. II, стр. 699.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОВЕСТЬ В. И. ДАЛЯ «БИКЕЙ И МАУЛЯНА»

(1833 г.)

Колоритная сцена из оренбургской жизни 30-х годов предваряет драматические события повести «Бикей и Мауляна» и сразу вводит в своеобразный мир, где причудливо переплелись начала восточного быта, кочевого уклада казахской жизни и русских влияний на далекой окраине Средней Азии:

«Идет, идет!» раздалось в пестрой толпе, стоявшей отдельными кучками, смотря по званию или сословию, знакомству и связям, зрителей: — «караван идет!» И толпа, многоязычная, многоглавая и разнообразная, как самая молва, зашевелилась. Ребятишки, оборванные татарчата, полунагие, но в огромных мохнатых шапках, обгоняли с криком друг друга и давали почтительные круги около зрителей высшего сословия, чинно выступавших в голове отряда; разнородная челядь теснилась вслед — хотя тесниться было не для чего, и простора на все четыре стороны на необозримой степи довольно. Тут шло несколько чиновников и должностных с фамилею и с семейством; тут были торгаши, мыльные и сальные, в долгополых сюртуках и в пестрых шейных платочках; были и приписные и беглые мещане, отбивающие у первых меновой торг с кайсаками, коим отсыпают нередко щедрою рукой за барана несколько помадных банок нюхательного табаку, да мерочку муки, пополам с золою, с известью и песком...»[294]

Повесть из жизни казахов названа по именам главных героев ее — «Бикей и Мауляна».[295] И в самом деле Бикей и Мауляна наиболее полно описаны в повести. Своеобразием метода Даля непосредственно определяются и композиционные особенности повести. Как устанавливал Белинский, «повесть с завязкою и развязкою не в таланте В. И. Луганского, и все его попытки в этом роде замечательны только частностями, отдельными местами, но не целым. В физиологических же очерках лиц разных сословий он — истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать

---

[294] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 233 — 234.

[295] Автор избрал типичные казахские имена, но несколько руссифицировал имя героини. Правильно по-казахски ее имя произносится так же, как аналогичное мужское имя Маулен.

представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, то есть не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведения действительности во всей ее истине».[296]

И разбираемая повесть не блещет тонкой отделкой сюжета, строго выдержанной композицией. Главнейшее достоинство «Бикея и Мауляны» таится в поэтически выразительном воспроизведении типов казахского народа, в мастерском «воспроизведении действительности во всей ее истине», т. е. в критическом показе положительного и отрицательного в национальной казахской жизни определенного исторического периода. Бикей и Мауляна поэтому вырисовываются с особенной полностью, их образы занимают центральное положение в композиции повести. Многочисленные отступления композиционно оправдываются тем, что они помогают уяснить условия жизни главных героев.

Впервые читатели знакомятся с Бикеем у менового двора в Оренбурге, куда он прибывает, возглавляя казахское вооруженное прикрытие торгового бухарского каравана. «Бикей Исяньгильдиев был один из старшин отделения Гасан рода Тана, — сообщает автор. — Отец его, Исяньгильдий Янмурзин, с почетным прозванием Аксакал, Белая борода, был богатейший из оренбургских киргизов и управлял уже слишком 10 лет танинцами, а именно, отделением Гасан, которое было известно спокойствием и благосостоянием своим с тех самых пор, как отделавшись от земляков своих, составляющих большую часть внутренней, Букеевской орды, снова перекочевало за Урал, постоянно занимая часть левого берега его, противу станиц нижнеуральской линии».[297] Бикей заметно выделяется в оренбургской толпе статностью своей фигуры, незаурядностью своего облика, национальным костюмом, подчеркивающим его гордую осанку, сдержанным благородством каждого движения. Автор не удерживается от соблазна дать до мелочей точное описание одеяния Бикея, описание, не лишенное этнографического интереса:

«...Вместо рубахи был на нем, как водится, легкий бумажный костюм; шаровары малинового бархата, с золотым шитьем; зеленые сапоги, из ослиной чешуйчатой кожи с окованными серебром закаблучьями, со вздернутыми носками и даже со вставленными в конце их кожаными хвостиками или косичками; сверх халата синий бархатный чекмень халатного покроя, с косым воротом, обшитым узенькими галунами, кожаный тисненый пояс, с привешенным той же работы карманом и с ножем...

...На бритой голове помянутого мною молодца была небольшая остроконечная, как воронка тюбетея, опушенная выдрой, а сверх тюбетеи бархатная алая высокая шапка, колпак с позументами по швам, с распоротыми с двух концов и загнутыми в че-

[296] В. Г. Белинский. Русская литература в 1845 году. Собр. соч. в трех томах, т. III, стр. 25.

[297] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 245.

тыре хвостика кверху полями; кроме этого, кайзак этот был в полном вооружении: копье трехгранное, с насечкою, на украшенном цветной резьбою длинном копеище; за плечами ружье...; за поясом пистолет в оправе, на поясе чекан, айбалта, род топора на длинном топорище».[298]

В казахской орде Бикей удостоен почетного звания батыра. Его любят и уважают не потому, что он — сын крупного бая, а за личные качества, которых не приобретешь ни за какие отары овец или табуны лошадей. Доблесть и отвага, искусство наездника, умение выйти победителем в спортивных состязаниях сочетаются с незаурядным умом, стремлением к правде, удивительным радушием и сознанием своего действительного превосходства над окружающими людьми. В условиях социально-экономической отсталости, в обстановке, где подавлялось и уродовалось все лучшее в человеке, Бикей сохраняет и проявляет разительно развитое чувство высокого человеческого достоинства. В запутанных и враждебных отношениях, осложненных спорами Бикея с отцом и двумя сводными братьями из-за незаконно присвоенного ими калыма, он выступает как умный и убежденный защитник попранной правды. И, пожалуй, именно поэтому Бикей возбуждает слепую ярость своих противников. Отцу, по-своему умному старику, невдомек, что сын и не думает занять его место степного властелина, а просто остается человеком, сознающим свою правоту.

«И слабый старик, черствый, упрямый, виноватое дело свое хотел поставить правым, не давал отчета в незаконных делах своих, а требовал на суд сына. Так прошли месяцы, годы, и отец, питая уже безотчетную ненависть к лучшему сыну своему, не мог видеть его, не загораясь багровою кровью; а сын, в гордости правоты своей и чистого дела, за которое стояли все однодворцы и земляки его, говорил и действовал смело и самостоятельно. Он никогда не забывался противу отца, никогда не грешил противу патриархальных обычаев (людей. — *М. Ф.*) степных, у коих белая борода уважается безусловно целым семейством, родом и племенем; но братьям всегда говорил он правду в глаза, — правду, которая тем более колола, что Бикей делал это с какою-то особой ухваткой; он никогда не бранился с ними, как это водится нередко у земляков его, на весь аул; никогда не выходил, как они, из себя, а отражал все нападения их какою-нибудь сильною, смелою и язвительною насмешкой, а сам оставался при своем и делал свое».[299]

Тесное общение с русскими оказало на формирование личности Бикея положительное влияние. Уважение к русским людям он подтверждает деятельным участием в установлении связи с русскими, захваченными и проданными в рабство среднеазиатскими ханствами, в содействии освобождению русских пленников из

---

[298] Там же, стр. 243 — 244.
[299] Там же, стр. 256 — 257.

неволи. Оренбургский военный губернатор даже вознаграждает Бикея премией за доставку письма от русских невольников из Хивы.[300] Рискуя жизнью, Бикей совершал смелые поездки в далекие края, но не из материального расчета, не из-за возможного получения денежного вознаграждения, а по велению глубокой дружбы, по чувству присущей ему доброты. И этой благородной чертой Бикей отличен от окружающих, среди которых тогда еще встречалось немало охотников заработать на захвате и продаже русских в хивинское или бухарское рабство.

Даль не преминул при этом подтвердить существование работорговли в описываемый период следующей официальной справкой: «Из списка, составленного по всем сведениям, которые только могло собрать оренбургское пограничное начальство, видно, что с 1758 по 1832 год увлечено в плен киргиз-кайсаками в оренбургской линии 3.797 человек; а следовательно, средним числом около 52 человек в год. Из этого числа возвращено, отбито, выкуплено и бежало, в течение 73 лет, всего 1.154 человека... В нынешнее время, 1833 год был одним из самых беспокойных, и с линии похищено 113 человек».[301]

Бикей сознательно шел против тех, кто считал «доблестным» подвигом оторвать человека от родного крова и превратить его в несчастного раба. Свободолюбивая душа Бикея не мирилась с институтом рабства, и все, что он мог сделать для помощи невольникам, он делал с присущей ему страстью и смелостью.

«От одного из таких-то бедствующих земляков наших, — рассказывал Даль, — привез Бикей, по связям и знакомствам своим в степи, письмо и сделал это менее из видов корысти, из расчетливости или даже приверженности к правительству, а просто по личным связям и по приязни с линейцами, с уральскими казаками, с которыми жил в дружбе и сношениях личных, водил хлеб-соль. Они-то наказывали ему почасту: «раздобыть весточки от родимых», по которым заживо панихиды отслужили, поминая их наряду с преставившимися. За всякое покушение высвободить или увезти пленника, равно за перевозку писем их, хивинцы жгут, режут и вешают: несмотря на это, мы каждогодно получаем оттоле письма и каждогодно уходят пленники».[302]

Насколько в факте постоянных сношений Бикея с русскими проявился необычайный его гражданский и моральный облик, можно судить по тому, что его злобно ненавидят многие из сородичей. У них, представителей феодально-байских элементов казахского общества, сохранялись националистическая отчужденность, плохо скрытое враждебное отношение ко всему русскому, а Бикей смело преодолевает реакционные и к тому же живучие предрассудки националистической самоизоляции баев-казахов.[303] Не

---

[300] Там же, стр. 251.
[301] Там же, стр. 253 — 254.
[302] Там же, стр. 255.
[303] Там же, стр. 302.

со стороны, а как бы изнутри, увидел Бикей русского человека в труде, в его бытовых и семейных отношениях, в повседневных мыслях и стремлениях. Он полюбил простого русского человека, неутомимого труженика, великодушного, гостеприимного и чуждого проявлению чувства национальной исключительности и ограниченности.

Правда, Бикею доводилось общаться больше с оренбургскими чиновниками, с казаками и атаманами. На жизненном пути ему не встретились представители передовой русской интеллигенции, подобные Дурову, Потанину, Михаэлису или Долгополову, те, кто способен был открыть ему глаза на мир, просветить его и окрылить высокими идеалами. Не довелось Бикею и пройти курс обучения в русской школе, стать читателем русских книг. Но длительные связи с русскими тем не менее помогли ему стать более или менее образованным, культурным, расширить свой общий кругозор и помогли познать много новых понятий.

То, что В. И. Даль показывал в образе Бикея, единодушно отмечали многие путешественники, исследователи, ученые. «В разряде инородцев кочующих, киргизы обоих степных областей стоят несравненно в высшей степени, нежели другие племена сибирские, — отмечал, например, И. Завалишин, современник Даля. — Этому развитию (способствуют. — *М. Ф.*)... непрерывные связи с русскими... Жилых домов у них еще очень мало, но пример русских заселений в степи уже начинает действовать на них благотворно».[304]. Обильный фактический материал о цивилизующем культурно-бытовом воздействии русских людей на казахские аулы содержится в трудах Н. М. Ядринцева.[305]

Закономерно возникло у Бикея сопоставление русского общественно-бытового уклада с косным укладом казахских аулов. От природы умный и наблюдательный, Бикей увидел, как неизмеримо выше русский город по сравнению с кочевым аулом, как неизмеримо сильнее русский человек в борьбе со стихиями, как он далек от многих предрассудков, почитаемых в степи за добродетель. Возникло у Бикея критическое отношение к казахской действительности, разумеется в той мере, в какой это было возможным на достигнутой им ступени общего развития. Зародилось желание жить иначе, чем жили отцы и деды. «Бикей жил не по нутру, не по духу отца, а и пуще братьев»,— отмечал Даль характерную черту своего героя.

Яркой самобытной фигуре Бикея тесно в пределах патриархально-феодальных отношений, крайне отсталого кочевого бытия. Он со многими традициями старины, освященными веками общественного застоя, решительно не согласен. В нем уже назревает

---

[304] Ипполит Завалишин. Описание Западной Сибири, т. I, изд. Об-ва распространения полезных книг, М., 1862, стр. 92.

[305] Н. М. Ядринцев. Сибирские инородцы, их быт и современное положение, 1891, см., например, стр. 160, 169 — 170, 180, 189, 226 и др.

стихийный, лишенный ясной цели протест против варварских устоев кочевого казахского общества. Пусть стихийный протест пока ограничен рамками личной жизни, пусть он еще не поднимается до социальных идей, все же в этом протесте проявлялась назревающая жажда ломки и преодоления отживающих форм казахской кочевой жизни.

Неписанным законом жизни отца и сводных братьев Бикея является алчное обогащение за счет народа. Частная собственность на скот — святое святых для них. С точки зрения своекорыстных интересов Исяньгильдий, Джан-Кучюк и все близкие к ним решают вопросы общественного и семейно-родового характера, права, морали, не заботясь об интересах всего народа. Они бесчеловечно жестоки в отношениях даже с родными людьми, фанатично слепы в заботах о личных выгодах, дико мстительны при столкновении с малейшим нарушением обычного права.

Бикей, хотя и кровно связан с породившей его средой, но живет иначе. Он еще не отрицает частнособственнических основ, тем не менее заботится о народном благе, выступает защитником народных интересов. Если, например, Исяньгильдий ловко использует мирные отношения с русскими властями для безопасных перекочевок собственных отар и табунов, то Бикей пользуется дружескими отношениями с оренбургскими казаками, с населением прилинейных казачьих станиц и поселков для ликвидации нередко возникавших столкновений между ними и казахами. Автор подчеркивал:

«...Бикей... водился и знался с чиновниками казачьими, был любим русским начальством за прямоту, бойкий ум и какой-то вид образованности; Бикей дарил и угощал кунаков своих с линии всем, что было у него любого и дорогого; а у кайсака, для гостя, заветного нет... Дружба и связи с линейцами давали ему нередко средства и способы к высвобождению задержанного ординарца, к прекращению полинейных раздоров за потраву стожка, выставленного, кажется, с намерением, в степь, чтобы тебенюющие, тощие кони растеребили его, и хозяин имел бы случай и повод взыскать с кайсака пару баранов, или за украденную овцу, за съеденную кобылу; и Бикей, который так ли, иначе ли, но умел ладить с тогдашним атаманом и, по какой бы то ни было нужде, даром в Уральск не езжал, а каждый раз привозил какую-нибудь добрую весточку, — приобрел любовь и доверенность своего народа. 88-летний Исяньгильдий и сам уже видел, что ему не подсилу тягаться и управляться наравне с молодецким сыном; но сознаться в этом и уступить народному гласу не хотел. Вместо того, чтобы видеть в сыне этом подпору и верного сподвижника, искал он в нем, натравливаемый братьями Бикея, врага — соперника и самозванца».[306]

Бикей — необычная фигура в казахских кочевых аулах начала XIX века, но типичная в том смысле, что в ней преломились

[306] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 263 — 264.

народные стремления к лучшей жизни, к ломке старых порядков и к братскому единению с русским народом. Контрастное сопоставление Бикея и его сводного брата Джан-Кучюка еще более оттеняет светлые начала в характере первого:

«Джан-Кучюк, душа-собака, собачья душа, есть кличка, достойная негодяя, которому принадлежала или принадлежит, ибо он жив и доныне, Джан-Кучюк был один из тех дикарей, которого можно и должно назвать просто зверем...» Джан-Кучюк — из тех, кто «свыкся и сжился со всеми ужасами разбойничьей междоусобной жизни и тешится огнем и ножем всюду, где только судьба и случай предает ему на истязание живое существо...».[307] Он не способен ни любить, ни чувствовать, ни мыслить по-человечески. Аморальность его находит наиболее полное выражение в изощренной травле Бикея и Мауляны и, наконец, в зверском убийстве Бикея. Над родственными чувствами, над представлениями о достоинстве человека, о долге, о чести, о доблести у Джан-Кучюка неограниченно господствует личная корысть, хищная алчность, проявляемая в самых варварских формах.

Как ни возвышен на этом фоне тип Бикея, все же в его литературном изображении нет того ходульно-фальшивого ореола, каким окружил Булгарин своего Арсалан-Султана. В. И. Даль правдив в показе казахского героя, потому что умел видеть человека таким, каким он выступал в жизни, видеть в связи с его средой. Без идеализации, а с тем мастерством очеркиста и знатока народного быта, которое восхищало Н. А. Некрасова,[308] Даль представляет Бикея настоящим героем. Талантливый и сильный человек, Бикей не может, однако, вырваться из своего социального окружения. Слабость Бикея в том, что он не знал высших общественных целей в борьбе против господствующего строя. Кипучая энергия, душевное богатство Бикея растрачивались в конечном счете бесполезно и сосредоточивались в узких пределах только личных стремлений к вольной жизни. «Свобода собственная, — устанавливал автор, — и разгульная, молодецкая жизнь были единственной потребностью Бикея».[309] Защита им родовых интересов, подчинение его многим патриархальным обычаям и нравам, соблюдение им многих из норм общепринятой в кочевом обществе морали довершают правдивое изображение натуры Бикея. Потому-то он, поднимаясь иногда до стихийного протеста против предписаний обычного права, не мог порвать со своей средой, чтобы вместе с Мауляной строить в иной обстановке новую жизнь.

---

[307] Там же, стр. 257 — 258.

[308] См. Семь анонимных критических статей Некрасова из «Современника» 1855 — 1856 г., Литературное наследство, т. 49 — 50, изд. Академии наук СССР, М., 1946, стр. 238. Некрасов сравнивал здесь Даля с Тургеневым, Григоровичем и Писемским.

[309] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 302.

Подстать Бикею и Мауляна. Полная неотразимого очарования в своей красоте, она производит на читателя впечатление цветущего степного цветка. Искренне Даль любуется ею, красавицей казахского аула, и заставляет любоваться нас. Ни после Даля, ни до него никто в русской литературе не создал более художественно яркого и обаятельного образа казахской женщины.

Уже в портрете Мауляны, изобилующем этнографическими подробностями, чувствуется зоркий авторский глаз. Даль проявляет широту взгляда писателя-гуманиста, когда с восторгом говорит, что совершенным чертам лица Мауляны могли бы позавидовать московские и питерские красавицы. Как живая, встает Мауляна в такой выразительной портретной зарисовке:

«Девка, в алом бархатном чапане, под золотою стежкою, в трехцветных бухарских сапогах из чешуйчатой ослиной кожи, в острой, конической бархатной шапочке, унизанной бисером и украшенной селезневыми и совиными перышками и темнозеленым, искусно набранным висячим пером, длинными поднизями и сетками, кистями и плетешками из разноцветного бисера, корольков и стекляруса, — девка эта появилась верхом на просторе... Приятный продолговатый облик, не томные, не нежные глазки, но быстрые, искрометные темнокарие очи необычайной жизни и блеска; черты лица особенные, свойственные кайсачке, но не менее того прекрасные.

...Я думаю, что если бы вы обжились немного со степью,... то стали бы вглядываться в иное, свежее, дикое, яркое и смуглое лицо, в котором брови, ресницы, очи, губы и подборные, скатного жемчуга зубы украсили бы любую из московских и питерских красавиц, похожих нередко, извините меня, неуча, — на куколку, которую шаловливые девчонки умыли, и смыли с нее и румянец, и алый цвет уст, а в голубых глазках оставили один только бледный, мутный намек на прежний цвет их... Высокое чело и благообразный нос вполне соответствуют приятному облику кайсачки».[310]

Никогда не покидавшая родных степей, Мауляна поражала всех, кто с ней встречался, естественной грацией движений, «благородной, образованной осанкой наших барынь и девиц лучшего круга».[311] Даль по достоинству наделяет Мауляну эпитетом «прекрасная». И не он один называл ее прекрасной Мауляной: «Есть доселе много людей на линии и в Оренбурге, которые видели и знали ее: вы услышите одно, и разноголосицы насчет Мауляны нет, словно все условились и сговорились».[312] Даже воспоминание о Мауляне заставляло улыбаться одного «из самых сухих и закоснелых брюзгачей» оренбургского общества.

Но для Даля, хранившего пушкинские гуманистические тра-

---

[310] Там же, стр. 276 — 277.
[311] Там же, стр. 303.
[312] Там же.

диции, Мауляна не только и даже не столько очаровательный тип степной красавицы. Он видел в ней душевно красивого человека и пытается дать понять, что пушкинские Татьяны есть у каждого народа, в каких бы социально-бытовых условиях он ни находился. «Дочь зажиточного киргиза Сатлы, рода Баюлы, отделения и поколения Маскар», она была «умница на все аулы, лицом приветливее, да умом смышленнее, душой милее всех подруг своих».[313]

В характере девушки резко проступают необыкновенно сильные страсти, способные поднять человека на подвиг, на самопожертвование. В ней жила «душа страстная, пылкая, необузданная, неразгаданная», одухотворявшая особенным светом все ее поступки и стремления. Мауляна чужда рабской психологии униженности и обезличенности. Свободолюбивая и не покоренная гнусной традицией порабощения казахской женщины, она по-своему «мыслила, чувствовала, тешилась и страдала, противоборствовала и отдавалась»[314] велениям собственного сердца.

В образе Мауляны, несомненно, отражены лучшие народные черты казахской женщины. В этом серьезная заслуга Даля. Мауляна — дочь зажиточного Сатлы, но воспитывалась в обычной трудовой обстановке казахского кочевья, все делала, как и остальные женщины. В результате в характере Мауляны и сложились ее положительные черты. В повести встречаются любопытные страницы, показывающие обиходную жизнь казашки в дореволюционном ауле, жизнь, полную тяжелого труда:

«И она, как все землячки ее, бегала до семи лет нагишом, на жару и на стуже, в ведро и в ненастье; хоронилась при 30 слишком градусов степного мороза, с северным бураном, от которого вся кибитка осиновым листом дрожала и которым нередко целые кошмы и полости срывало и уносило, заметало целые аулы снегом — и она, говорю, хоронилась под лохмотья, под груду шерсти, в войлоки и кошмы, зарывалась в горячую золу, когда огонек среди кибитки потухал; и она, дочь зажиточного киргиза, плела, шила, вязала уздечки, ткала армячину, чинила платье и сбрую отца и братьев, выделывала жеребячьи шкуры на яргаки и бахи — вымачивала их в квашеном молоке, провешивала, смазывала бараньим салом, коптила и вымина́ла их руками — и дождь не промокал яргак ее работы; и она копала и собирала марену и красила козловую замшу и овечьи шкуры, и хохотала и забавлялась от души, глядя, как собранные для этого на помочь гости и гостьи жуют мареновый корень во все скулы, — а кайсаки положительно утверждали, что толченый или крошеный не дает такой доброй краски, как жеваный; и она тоже вьючила верблюдов, ставила и сымала кибитку, седлала и подводила отцу и братьям коней — все это было и есть обязанность и дело баб и девок; мужчины холятся, валяются на кошмах и коврах, пьют кумыс и спят.

---

[313] Там же, стр. 296 — 297.
[314] Там же, стр. 298.

И она рядилась, как это водится, при перекочевке, в лучшее платье свое, убиралась ожерельями и запястьями, выпрашивала у отца, у братьев бойкого скакуна, на коем заганивала куланов... все это шло своим чередом, и Мауляна выросла статна и пригожа, как видели сами».[315]

Можно удивляться, как в таких малоблагоприятных условиях сформировался благородный характер Мауляны, как не сломила и не исказила ее натуры страшная система порабощения женщин в кочевом обществе. Надо по достоинству оценить моральную силу казахского народа, который был способен и в мрачную эпоху отсталости, бесправия, угнетения рождать такие человечески благородные и самобытные натуры. Когда социалистическая революция навсегда раскрепостила казахскую женщину, еще яснее стало, что талантливые Мауляны были в народной среде отнюдь не редкими исключениями, но что только в благоприятных условиях советской действительности их способности могли быстро принести плоды во всех областях государственной, народнохозяйственной и общественно-культурной жизни Казахстана, возрожденного и преобразованного на социалистических началах под мудрым руководством партии Ленина — Сталина.

Деспотической волей родителей, подкрепленной патриархально-родовыми традициями и изуверским мусульманским законом, заранее были предрешены судьбы Бикея и Мауляны. Бикею прочили в первые жены Дамилю, дочь старшины Тохтамыша из соседнего баголинского рода, но «он как-то еще с нею не свыкся, не слюбился» и «не торопил отца уплатою калыма». Бикей не думал итти против отцовской воли, но к просватанной невесте оставался равнодушным. Мауляна в свою очередь была объявлена невестой старшего брата Бикея. Но могла ли она, первая красавица в округе, любить навязанного ей жениха, который «был очень дурен собой и на изуродованном оспою подбородке его редкая борода пробивалась только на одной, правой половине».

Бикей и Мауляна столкнулись на одном из многолюдных степных празднеств. Соседний султан устраивал ас-поминки по родственнику — «празднество, совершаемое обыкновенно с расточительным великолепием», с большой программой национальных спортивных состязаний и игр. Когда началась игра кыз-куу (погоня за девушкой), протекающая в стремительно напряженном темпе в присутствии сотен возбужденных зрителей, Мауляна подскакала к Бикею и замахнулась на него камчей. Впрочем предоставим слово автору, ибо сцена единоборства девушки и джигита отлично показывает их характеры:

«Бикей следил ее глазами, — оглянулся опять, кинул взоры на нее — опять вокруг, на толпу, как будто удивляясь и не веря, что нет шункара, нет кречета на эту пигалицу. И в тот же миг она полетела вихрем на него, — народ отхлынул с криком, и ре-

---

[315] Там же, стр. 297 — 298.

бятишки в давке завизжали. Бикей ни с места, — как стоял сложа руки и выставив ногу вперед, так и остался, вперяя жадные очи в батырку на рыжем, нескладном, неутомимом скакуне. Она, пролетая мимо, замахнулась было на Бикея, занесла руку и, быстро опустив карающую десницу, обмахнула повисшею на темляке нагайкой два быстрых круга около головы его — и промелькнула.

Не знаю почему, но милосердие это странно поразило Бикея и круто им повернуло: он закричал: бир-бул! держись! и уже несся вслед за непобедимою, за которою никто более не посмел гнаться; все знали горбоносого скакуна ее, знали, что она, не щадя ни плеч, ни головы друга-противника, секла вальковою нагайкой оплошавшего и ненастигшего ее состязателя; знали и то, что ее, со времени возмужалости ее, на всех игрищах и пирах никто еще не догонял, не обнимал... Довольно нам потешаться картиной, оглянувшись на этот исступленный и оглушающий рев тысячи зрителей, и встретить взором всадников наших в самую ту минуту, когда Бикей, обняв стан Мауляны крепко правою рукою, почти лежал, растянувшись и перегнувшись боком с упрямого жеребца своего, который мчался рядом, но почти в целой сажени от рыжего, горбоносого скота побежденной и задыхающейся от смеха Мауляны».[316]

Народ приветствовал победителя доселе непобедимой Мауляны шумными восклицаниями: «Гоу, гоу, гоу, батырь! джигит!» И только злобный и ревнивый жених Мауляны был взбешен происшедшим на его глазах. Его сердце «вскипело местью, ненавистью».

Спустя некоторое время Бикей отважно возглавляет сотню джигитов из аулов, разграбленных в его отсутствие набегом чиклинцев, нагоняет барымтачей и расправляется с ними. Благодарные сородичи прославляют его доблесть и открыто поносят его братьев «за трусость их и бездействие, за неумение наказать чиклинцев за дерзостное их покушение». Но Бикей более всего вознагражден тем, что ему удалось освободить Мауляну, насильно угнанную барымтачами.

Большая взаимная любовь вспыхнула и разгорелась в сердцах достойных друг друга молодых людей. «Кто знал Бикея искони, не узнавал его теперь: Бикей стал новым и иным человеком; так полюбил он Мауляну, и так был любим ею... Это не сказка, а быль. Из этого видите вы, что там за Яиком... прорывается иногда это влечение, это чувство, которое уносит человека далеко, далеко, выше всех известных нам сознаний».[317] Изображение этой благородной взаимной страсти отличается в повести подкупающей простотою, сдержанной эмоциональностью и живой непосредственностью. Повесть «Бикей и Мауляна» утверждала гуманное понимание страстной любви казахских героев.

---

[316] Там же, стр. 277 — 279.
[317] Там же, стр. 291.

Отказавшись от избранной отцом для него невесты, Бикей, не считаясь с нарушением обычаев, женится на Мауляне. Он гордится любимой женой, нежно и нераздельно любит только одну ее. Между ними устанавливается полное взаимопонимание и взаимоуважение, которых едва ли можно было сыскать в казахских семьях того времени. «Мауляна была единственною его женою и единственной радостью и утешением». Они обрели настоящее счастье, о котором поется только в песнях. Таким образом, в необыкновенной и возвышенной любви Бикея и Мауляны проявилась незаурядная одаренность их натур.

Но счастье Бикея и Мауляны, посмевших выбрать в жизни свой особый путь, продолжалось недолго. Благородные человеческие начала сталкиваются с косной и гнетущей силой старого кочевого быта. Исяньгильдий взбешен непокорством младшего сына. Он позволяет озлобленным братьям присвоить сотню голов крупного рогатого скота из выделенной Бикею доли под предлогом возмещения калыма за его первую невесту. Разгораются острые внутрисемейные раздоры. Братья требуют, чтобы Бикей явился на суд отца. И когда он отказывается, Джан-Кучюк коварно убивает его. Исяньгильдий, потрясенный гибелью сына, принимает вину на себя, чтобы предотвратить кровавую родовую месть и преследование убийц со стороны царских чиновников. Старика отрешают от должности дистаночного начальника над киргизами 4-й дистанции. Однако семейные раздоры не угасли и после смерти Бикея.

Трагически кончается и жизнь прекрасной Мауляны. По гнусному обычаю амангерства, левирата, она, потеряв любимого мужа, должна достаться в «удел... убийце его, старшему брату Джан-Кучюку, который присватывался за нею еще в детстве ее и никогда не мог простить счастливому сопернику оказанного ему преимущества».[318] С волнением и сочувствием Даль описывает страдания Мауляны, которой отказывают даже в праве на личное горе, потому что по представлениям того времени «жена есть вещь, купленная мужем»:

«В каком положении была бедная Мауляна по убиении мужа ее — этого, воистину, выразить словами нельзя. Мне говорил об этом, между прочим, близкий родственник ее, прискакавший к ней на помощь из дальнего аула, в ночь по совершении злодеяния. Отчаяние в груди, в уме (Мауляны. — *М. Ф.*) не знает никакой меры. Но каково было потом еще положение ее, когда на третий день после убийства Джан-Кучюк приехал было объявить ей, что она теперь его джясыр и будет его четвертою женою? Она едва не зарезала его большим кабульским ножем своим, в бирюзовой оправе, с череном из рога носорога, и Джан-Кучюк бежал от исступленной не только по всему аулу — бежал от нее верхом, и степью и пал бы, может быть, под обоюдоострым каратабаном ее,

---

[318] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 321 — 322.

еслиб свояк ее, султан Куляб, не кинулся за нею в погоню и не отнял бы у нее ханджара. Султан привел ее, лишенную ума и памяти, домой, и несчастная провела ужасную ночь, в злейшей горячке. Все утро она проплакала, рыдала горько и неутешно, во весь день не брала ни крохи, ни капли в рот, а к вечеру спокойно уснула. Утром, на рассвете, спохватились — Мауляны нет».[319]

Мауляна не бросилась в Яик, как склонны уже были предположить в ауле. Она за двадцать часов проскакала 270 верст до Уральска, чтобы найти у казачьего атамана защиту своей чести. Но атаман не решился вмешиваться в разрешение степного конфликта и препроводил ее к военному губернатору, в Оренбург.

«Смело и величественно выступила она в переднюю залу и чрезвычайно поразила находившихся там осанкою своею, красотою, смелою и величавою поступью и неожиданным появлением. Не менее того был изумлен и сам военный губернатор. Мауляна говорила, что приехала искать защиты его, ибо у нее нет в целом мире благонадежного убежища. «Я приехала», продолжала она спокойно и твердо: «просить позволения губернаторского зарезать из рук своих Джан-Кучюка, убийцу мужа моего». Просьбу эту повторяла она несколько раз, с таким прямодушием и так настоятельно, что стоило большого труда вразумить ее и убедить отказаться от этого предприятия... Наконец, когда дело для нее не объяснилось, объявила она решительно, что по крайней мере не преступит обратно порога, доколе не получит великого слова наместника царского, что она будет жить спокойно в ауле отцовском и не будет выдана убийце мужа.

...Мауляна была доставлена под верным прикрытием в аул отца своего... Джан-Кучюку намекнули, чтобы он искал себе другой невесты, буде имеет надобность в четвертой жене. Мужнее имущество возвращено Мауляне без замедления...».[320]

Как не кажутся исключительными волевой характер Мауляны, ее смелый поступок, столь необычный для бесправной казахской женщины, ее решение искать защиты в русском городе, все же это не было единичным явлением в дореволюционных казахских аулах. Реалистичность далевского описания подтверждается, например, любопытным свидетельством А. К. Гейнса. В 60-е годы во время служебной поездки по Казахстану ему довелось слышать рассказ об одной молодой казашке, которая бежала из аула, «чтобы избавиться от необходимости выйти замуж, согласно киргизскому обычаю, за мужнина брата».[321] Она хотела пробраться в Россию, но ее похитили сородичи, возмущенные непокорством и протестом ее против амангерства. В казахстанской печати позднейшего времени также сообщалось, например, о казашке

---

[319] Там же, стр. 322 — 323.

[320] Там же, стр. 324 — 325.

[321] Собрание литературных трудов А. К. Гейнса. Дневник 1866 года о путешествии в Туркестан, т. II, СПб, 1898, стр. 104 и 105.

Фатиме Агинбаевой, которая решительно отказалась подчиниться дикому обычаю амангерства и отстаивала право на свою личную независимость.[322]

Не надолго пережила Мауляна любимого Бикея. Она заболевает оспой, распространенной в то время в казахской степи, и, брошенная всеми, умирает в одиночестве. Случайный путник находит ее в степи и слышит, как в предсмертном бреду она шепчет имя Бикея. Скорбно звучат финальные строки повести, возбуждая ненависть к проклятому прошлому, когда мечта о счастье оказывалась неосуществимой:

«Итак, приятель мой подошел, по врожденной страсти своей хлопотать о других, подошел, чтобы подать бедствующей, — это была женщина, — чашу воды. Казалось, это было лишнее; она сгорала уже огнем горячки, и сострадательный хожалый наш услышал только невнятные слова, произнесенные в беспамятстве: Уой, бой, Бикей! сын мины ташламас удин! — то-есть: «О Бикей, ты бы меня не покинул!»... Путник спросил, как зовут больную? «Мауляна», отвечали ему: «это вдова убитого Бикея». Она действительно умерла от оспы, летом 1832 года, менее года после убиения мужа, на 22-м году от рождения своего».[323]

Дочитав повесть, невольно вспоминаешь обаятельные образы героев казахской лирической поэмы «Козы-Корпеш и Баян-слу». Бикей и Мауляна ассоциируются с Козы-Корпеш и Баян-слу, так полюбившихся Пушкину, и по возвышенности своих характеров, и по могучей взаимной любви, и по моральной чистоте своих сердец, и наконец, по общности трагической судьбы в патриархально-феодальном кочевом обществе.[324] Может быть, и автор «Бикея и Мауляны» вспоминал известную ему поэму «Козы-Корпеш и Баян-слу», когда повествовал о своих казахских героях.

Даль не оставался бесстрастным регистратором трагедии Бикея и Мауляны. Не удовлетворяла его и позиция сентиментального сочувствия безвременно погибшим героям повести. Писатель, выступивший на заре утверждения русского критического реализма, продвинулся значительно дальше своего современника по разработке казахстанской тематики Ушакова. Если последний предоставлял самим читателям и критикам делать выводы о судьбе Виктора Славина, о причинах его гибели, то Даль поступал иначе. Он, не понимая во всей полноте социальной обусловленности судеб своих героев в классовом казахском обществе, тем не ме-

---

[322] См. «Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям», 1891, № 18.

[323] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 327.

[324] См. авторизованный поэтический перевод Г. Н. Тверитина поэмы «Песнь о Козы-Корпеш и Баян-слу», Казахстанское краевое издательство, Алма-Ата — Москва, 1935, и прозаический пересказ этой народной легенды И. А. Тараканова «Баян-слу», Сибирские записки, 1916, № 1, стр. 59 — 115.

нее содержанием повести и авторскими отступлениями прямо подводил читателей к осуждению патриархально-феодальных отношений, в столкновении с которыми коренилась причина трагической гибели не только Бикея и Мауляны, но и многих других лучших людей казахской степи.

Порабощение, социально-экономическая и культурная отсталость — проклятый бич, источник неимоверных страданий и бедствий казахского народа. И пусть писатель не делал революционно-демократических выводов, суровая правда его повествования, логика его рассуждений объективно подводили к пониманию необходимости радикальной ломки патриархально-феодального жизнеустройства. Даль весьма далек в этом отстаивании демократической тенденции от Булгарина с его выдуманным Арсаланом, с его фальшивой идеализацией кочевого быта казахов. Не риторическим пафосом, а искренним гуманизмом проникнуты, например, такие строки далевского повествования:

«В этой чете столкнулись два человека, в своем роде необыкновенных: упрямая судьба одарила (Бикея и Мауляну. — *М. Ф.*) мозгом и сердцем, которые, при надлежащем развитии понятий и способностей, может быть украсили чело и грудь царственной четы; может быть, другой Суворов, Кир, Кант, Гумбольдт сгинули и пропали здесь, сколько скованный дух ни порывался на простор! Я знаю, по крайней мере, что куш-юлы — птичий путь, то есть млечный, и темир-казык — железный кол, то есть полярная звезда, вокруг которой, по мнению кайсаков, лошадь-медведица ходит на приколе, не раз заставляли призадуматься нашего Бикея такою думою, которая едва ли когда осветила помышления прочих его земляков».[325]

Казахский народ одарен талантами и неограниченными возможностями для всестороннего развития. Образы Бикея и Мауляны лишний раз убеждали в этой простой истине, до сих пор недоступной колонизаторам всех мастей, поборникам изуверских расовых «теорий» о мнимой неполноценности народов Азии или Африки. В среде казахов, отставших в прошлом по уровню своего социально-культурного развития в силу неблагоприятно сложившихся исторических условий, рождалось не меньше талантов, нежели в среде других народов. Но для их процветания необходимо было создать благоприятные условия «надлежащего развития понятий и способностей», как выражался Даль. Идеалист по мировоззрению, он не понимал законов общественного развития, классовой борьбы, решающего значения материальных условий существования того или иного народа, необходимости революционного изменения существовавших общественных отношений в Казахстане. Но насколько своевременно и остро Даль ставил вопрос о «надлежащем развитии понятий и способностей» казахского народа,

---

[325] Там же, стр. 302

можно судить по тому факту, что еще при жизни Даля выступили первые казахские просветители Чокан Валиханов (1835 — 1865 гг.), Ибрай Алтынсарин (1841 — 1889 гг.) и Абай Кунанбаев (1845 — 1904 гг.).[326] Они, духовно оплодотворенные великой русской культурой, подняли знамя борьбы за просвещение родного народа, за то, чтобы люди, подобные Бикею и Мауляне, смогли найти путь к счастью. В. И. Даль верил в силы и светлое будущее казахского народа.

---

[326] Десятитомное собрание сочинений В. И. Даля и его же «Пословицы русского народа» (8 томов) значатся в каталоге Семипалатинской библиотеки. Поскольку Абай был постоянным посетителем этой библиотеки, можно предположить, что он был знаком с произведениями Даля. (См. Каталог книг и периодических изданий Семипалатинской общественной библиотеки, Семипалатинск, 1907, стр. 35).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«МАЛЕНЬКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» КАЗАХСКОЙ ЖИЗНИ

Круг интересов и способностей В. И. Даля отличался редкостным разнообразием. Наряду с тем, что он выступил одним из создателей нового в русской литературе жанра физиологического очерка,[327] его постоянно увлекали занятия по собиранию фольклора, этнографических материалов, им проделана поистине грандиозная работа по созданию «Толкового словаря живого великорусского языка».

Плоды изучения фольклора отразились в сказках Даля, благожелательно встреченных Пушкиным. Значительное количество собранных и записанных им народных сказок он передал известному русскому фольклористу А. Н. Афанасьеву, подготовившему издание собрания «Народных русских сказок», переизданных в трех томах в советское время.[328] Не менее обширное собрание народных песен и былин Даль пожертвовал обществу любителей русской словесности, возглавлявшему работу по публикации песен Киреевского.[329] В 1856 г. Даль передал в дар публичной библиотеке собрание лубочных картинок и лубочных изданий, представлявших «богатый материал для истории русской народной гравюры и популярной словесности».[330] Об этнографической деятельности Даля и его работе в других областях науки непосредственно в Казахстане говорилось выше.

Все эти разнообразные интересы и занятия преломились и в работе над всем, что писал Даль о казахах. Повесть «Бикей и Мауляна», как и другие произведения Даля на казахстанские темы, изобилует многочисленными отступлениями, посвященными истории, социально-экономическим отношениям, быту и этнографии Казахстана первых десятилетий XIX века. Нередко автор да-

---

[327] См. Б. Баркова. В. И. Даль как беллетрист. Воронежский историко-археологический вестник, 1921, кн. I и II.

[328] А. Н. Афанасьев в предисловии к четвертому выпуску первого издания сказок указывал, что большую часть «заветных сказок» он заимствовал из собрания В. И. Даля (см. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, т. I, Гослитиздат, М., 1940, стр. 499, и т. III, стр. 453, 473).

[329] П. Полевой. Владимир Иванович Даль (биографический очерк). Полн. собр. соч. В. И. Даля, т. I, стр. XXIII — XXIV.

[330] Н. А. Добролюбов. Отчет императорской публичной библиотеки за 1856 год. Полн. собр. соч., т. V, стр. 373.

же как будто забывал об основной сюжетной линии повести, детально описывая ту или иную сторону казахской жизни. Вспоминается замечание Белинского, что произведение читателям «нравится... одними подробностями и частностями, как все большие повести г. Даля».[331] Это не совсем справедливо по отношению к общей оценке «Бикея и Мауляны», но верно как определение метода писателя.

Упомянув при описании костюма Бикея о том, что казахи в отличие от калмыков не носят у пояса огнива, Даль спешил осведомить, что среднеазиатские мусульмане не курят. Мало того, он не мог не сказать и о совершенно постороннем факте, как неудачны поэтому оказались подарки (хрустальные кальяны) русского посольства бухарскому хану.[332] Отметив дальше, что Бикей вооружен ружьем, Даль здесь же давал справку о казахском вооружении вообще.[333]

Подобные отступления самого разнообразного характера, нарушающие стройность повествования, вынуждали в конце концов автора извиниться и оправдать необходимость их тем, что содержание повести составляет малоизвестная жизнь казахской степи.[334] Можно было возразить Далю, что для сообщения всех этнографических, исторических и иных сведений о казахском народе ему следовало бы избрать форму статьи, исследования, документального очерка. Однако чем больше вчитываешься в содержание повести, тем больше убеждаешься, что обилие отступлений, взрывая каноническую повествовательную форму, создает новое литературное качество, новые жанровые особенности художественно-этнографического описания. Тщательный же анализ всего материала очерковой повести дает основание сказать, что «Бикей и Мауляна» вместе с другими произведениями Даля на казахстанские темы представляет своеобразную «маленькую энциклопедию» казахской жизни 20 — 30-х годов прошлого века.

Счастливое сочетание писательского дара с отлично развитым умением видеть и замечать в жизни все наиболее характерное, с навыками образованного этнографа, страстного фольклориста и изумительного лексикографа обеспечило успешную творческую работу Даля в новом жанре. Но успех работы над материалом малоизвестной в то время казахской действительности был бы далеко не полным, если бы писатель не оставался чужд великодержавно-шовинистическим предрассудкам и не установил с казахами отношений полного взаипонимания. Не исключена возможность, что уже первыми результатами изучения казахского фольклора и этнографии Даль делился с А. С. Пушкиным, которого он сопровождал во время его приезда в Оренбург и поездки

---

331 В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Избр. соч., Гослитиздат, М., 1947, стр. 607.
332 В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 243 — 244.
333 Там же, стр. 244.
334 Там же, стр. 263.

по пугачевским местам. Так, в путевых оренбургских записях Пушкина появилось краткое изложение древней казахской поэмы «Козы-Корпеш и Баян-слу».[335]

«Маленькая энциклопедия» Даля по Казахстану содержательна и разнообразна. Прежде всего, историко-познавательный интерес представляет тема социально-имущественных отношений в кочевом казахском обществе начала XIX века, которая в общей композиции повести так важна для понимания трагической судьбы Бикея и Мауляны. Разработка этой темы позволила показать типичные общественные условия, определяющие поведение действующих лиц и неизбежность столкновения положительных и отрицательных персонажей.

Казахский аул не идилличен в изображении Даля, как в «Иване Выжигине» Ф. Булгарина, а вырисовывается полным кричащих классовых противоречий. С одной стороны, выступают султаны, баи, старшины, бии — владельцы огромной массы скота, этой материальной основы кочевого общества, а, с другой стороны, — трудовое большинство населения, бедняки. У старшины Исяньгильдия, представляющего законченный тип казахского полуфеодала, крупного бая, «было более десяти тысяч одних лошадей, не считая овец, верблюдов и рогатого скота», «он был первый или один из первых богачей в степи, — это бесспорно».[336] Он преуспевал в приумножении своих богатств под покровительством царского правительства, которое в нем и ему подобных видело классовую основу своего господства в Средней Азии. А наряду с Исяньгильдием встает в повести образ типичного казахского байгуши, неимущего бедняка. Такой поразительный контраст заставлял Даля, не понимавшего законов общественного развития, задуматься над процессом обнищания казахских аулов и высказать свои любопытные соображения, подкрепленные статистическими данными:

«Но верх безобразия представляют здесь (у оренбургского менового двора. — *М. Ф.*) собою жалкие человеко-твари — байгуши, киргизские нищие: степные (обитатели. — *М. Ф.*) эти нищают целыми аулами и поколениями и гибнут голодом и стужей без всякой надежды на помощь. Земляки их, в этом отношении, безжалостны, неумолимы. Полинейные кайсаки вообще так бедны, что на 20 тысяч кибиток, зимующих от Гурьева до Звериноголовска, на протяжении 1850 верст, считают кругом, по пяти душ обоего пола на кибитку и притом только по семи голов разного скота, по пяти лошадей, по одному верблюду, по сто баранов, но в этом числе есть богачи, у которых десятки тысяч овец и коней, и голыши, у которых на целое семейство одна дойная коза и более доходов решительно никаких; на козу эту вьючит целое семейство

---

[335] Л. Б. Модзалевский. Запись казахского предания в архиве Пушкина. Временник пушкинской комиссии. 1937, № 3, стр. 323 — 325.

[336] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 245 — 246.

все имущество свое и питается молоком ее — через день и два, поочередно; это не сказка, а быль».[337]

Казахское население все более втягивается в товарно-денежные отношения, жестоко эксплоатируется султанами, баями и подвергается ограблению со стороны царских колонизаторов, купцов. Бедность населения очевидна, когда Даль описывает, что привозит для продажи караван из Бухары. В батманах, нагруженных на верблюдов, упакованы не кашемировые шали, не восточные ковры, не драгоценные камни, а «хлам и дрязг, почти такой же, как вы сейчас видели на возчиках, на конвойных, на байгушах; это стеганые бумажные халаты, где подбой и покрышка состоят из бязи, толстой и самой простой выбойки; халаты эти составляют не прихоть, не щегольство жителей здешних, но вся линия, все народы и сословия линейных жителей носят каждодневно халаты эти, как русский мужик свою сермягу. Далее: это войлоки, по здешнему, кошмы, — это толстые бязи, выбойки, бумажные одеяла, самые грубые ткани и изделия, которые, кажется, не стоят перевозки на сто верст, не только через все пространство степей Турана... И по всей оренбургской линии то же, и вот, в чем состоит весь торг наш с соседнею Азией».[338]

И весь этот «хлам и дрязг», рассчитанный на крайне низкие покупательные возможности степного населения, сбывался, как правило, обманным путем. Неприглядна картина товарообмена между Европой и Азией. Загнанным и беззащитным выглядит здесь казах-бедняк, продающий за бесценок последнего барана:

«...Несколько баранов ожидают, на привязи, смиренно участи своей; торгаши наши расхаживают между ними, ощупывая курдюки, и с криком и шумом, с клятвами, божбою и ругательством, почти насильно отымают и выменивают баранов этих у нерешительных продавцов, которые, кажется, только этим способом, умеют сбыть свой товар; кой-где сидит, на голой земле или на рогожке, торговка..., обвешивает и обмеривает кайсаков на товарах, составляющих запас подвижной мелочной лавки ее. Загляните в этот короб, или сколоченный кожаными наугольниками ларец, из которого она выбирает и навязывает мохнатому покупателю своему и квасцы, и гвоздику, и кусочки купоросу, осторожно стряхивая с них в бумажку рассыпанный по всему ларцу табак...».[339]

По непосредственным наблюдениям Даль описывал систему управления в казахской степи. После уничтожения ханской власти[340] был установлен институт султанов-правителей, подчиненных

---

[337] Там же, стр. 235.
[338] Там же, стр. 241 — 242.
[339] Там же, стр. 250 — 251.
[340] Последний хан Ширгазы Каипов бежал в Хиву, но вскоре «возвратился с раскаянием, когда хан хивинский обобрал у него все подарки царские, ...живет теперь милостью правительства нашего, но веса и значения не имеет вовсе» (В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 258).

пограничной комиссии при военном губернаторе. Но фактически власть, суд и расправа над народом находилась «в руках сильного, а сильный — это богатый или прославившийся разбоями наездник». Писатель объективно оттенял классовый характер существовавшей системы управления, открывавшей неограниченные возможности для произвола богатых и обрекавшей неимущих на полное бесправие. Даль, будучи прав в посылках, неправ, однако, в выводах, замечая, что казах «волен и свободен и очень-очень мало повинуется своим султанам».[341] Допустим, султан Арынгазы, установивший деспотическую власть, — исключение, но о какой воле и свободе казаха можно было говорить, если он всецело зависил от богатых султанов и крепко связанных с ним баев. Здесь Даль проявлял явную непоследовательность, противоречие между верными наблюдениями и субъективно-произвольными выводами. В упрек писателю можно поставить также то, что он умалчивал о политике царской колонизации, которая тяжким бременем падала на плечи трудящихся казахской степи.

Даль описывал и суд биев, за патриархальным характером которого скрывалось все то же господство богатого меньшинства над неимущим большинством. В силу патриархально-бытовых обычаев суд биев внешне пользовался уважением в степи[342], но суд этот не защищал народных интересов, и, как показывает писатель, решение дела зависело от задаривания судей. Справедливо и замечание, что бюрократические формы царского суда вызывали отчуждение казахского населения:

«Кайсаки до того ненавидят правосудие наше, наши обряды судопроизводства, что предпочитают им всякую домашнюю расправу, лишь бы дело было кончено на словах, в один прием, лишь бы обвиняемому и прикосновенному не тягаться месяцы и годы, не сидеть, ожидая медленно, томительно переписки, в каком-нибудь гнилом остроге...

...Коренной суд кайсаков таков: хан или султан с почтенными аксакалами, биями, старшинами и муллами, садится в глубине кибитки; истец со свидетелями по правую, ответчик со свидетелями по левую руку; первый начинает говорить и рассказывать дело со всеми подробностями; свидетели поддерживают его, дополняют, поясняют и подтверждают; потом другая половина рассказывает дело с начала до конца по своему; во все это время одна половина другую перебивать не смеет, и всеми присутствующими сохраняется глубокое молчание. Наконец все выходят: султан или хан советуется с биями и муллами, произносит приговор, и обе половины призываются для выслушивания его; тем дело

---

[341] Там же, стр. 259.

[342] Это отмечал и Чокан Валиханов в «Записке о судебной реформе у киргиз Сибирского ведомства», особенно в разделе «Суд биев в древней народной форме» (см. Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, 1904, т. XXIX, стр. 151 — 178).

кончено, нет ни споров, ни апеляций; решение выслушивается в молчании, с уважением и исполнение следует за ним. Не скажу, впрочем, чтобы приговор этот был всегда справедлив и бескорыстен; пишкеш, то есть почетные подарки и гостинцы, у азиатцев во всеобщем употреблении, и дело редко без этого обойдется. Но кайсаки на это жалуются тогда только, если корысть судьи превосходит силы и достояние просителя; умеренные взятки считаются делом позволительным, даже необходимым, — это обычай пишкеш или буйляк».[343]

Поскольку вся система управления и нормы обычного права направлены на защиту имущественных интересов богатых владельцев скота, на защиту неизменности старинных порядков, постольку неизбежны «ужасы двух крайностей: безначалия и самовластия». Печальная история Бикея и Мауляны, не нашедших никакой поддержки своих прав, — наглядная иллюстрация этого положения.

В степных просторах кипели неугасающие межродовые распри, барымта, эта своеобразная форма патриархально-феодальных войн между отдельными родами. Барымта была разорительна для основной массы аульного населения, но выгодна для султанов, родовых заправил. Даль настолько верно рассказывал о причинах и сути межродовых набегов, столкновений, что его наблюдения не утратили интереса и для современных советских исследователей прошлого Казахстана:

«Если один кайсак у другого украдет или угонит скотину, то за это платит он туляу, пеню; если же он отказывается от пени или не сознается в воровстве, а род или аул его не выдает виновного, то бии и аксакалы разрешают обиженному искать права силою; он набирает товарищей и отправляется, говоря: барамта..., или, как говорят русские, баранта. Но при этом самоуправстве трудно знать лад и меру; один захватывает более, чем ему по обычаю народному следовало, другой предъявляет иск неправый; третий, пользуясь смятением и беспорядками, поживляется сам на свою руку, опять иной, в сумятице, невпопад угоняет скот не того хозяина, которого бы следовало... Взаимные расчеты, а с ними и баранты и междоусобия, поддерживаемые еще сверх того султанами, которые в мутной воде рыбу удят, расплодились и размножились до бесконечности. Баранта обратилась в какой-то гибельный, разорительный промысел... все роды и племена перепутались во взаимных счетах и начетах и пользуются каждым случаем для взаимного разорения и нападения. И здесь, как всюду, мое и твое служит поводом, началом и корнем взаимной вражды и усобицы».[344]

---

[343] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 261.

[344] Там же, стр. 279 — 280. Это описание барымты цитируется в книге Е. Бекмаханова, «Казахстан в 20 — 40-е годы XIX века», КазОГИЗ, Алма-Ата, 1947, стр. 94.

В повести даны зарисовки таких набегов, сопряженных с избиениями ни в чем неповинных людей, с угоном девушек, с разорением аулов и захватом скота. Автор дает волнующий образ матери-казашки, которая мужественно «отстаивает своих малюток», свою кибитку и гибнет в неравной борьбе с вооруженными всадниками.[345] «Отвратительная картина» разбойничьих набегов вызывала у автора чувство протеста, и он отказывался «говорить пространно и подробно» о страшных деталях барымты.

Как бы полемизируя с Булгариным, Даль раскрывал отрицательные стороны семейного быта казахов в условиях существования многоженства в байской среде, калыма-выкупа за невесту, раннего замужества, амангерства, пренебрежительного отношения к женщине, даже женщине-матери. В полигамной семье Исянгильдия царили постоянные раздоры между женами, их детьми и родственниками. Вражда, клевета, доносы, сплетни исключают семейное согласие, порождают страдания менее любимых жен, а нередко приводят к кровавым столкновениям и даже убийствам. Так, пал жертвою внутрисемейных раздоров Бикей.

Дети не уважают родителей и подчиняются их воле лишь в силу обычая, в силу материальной зависимости от них. «...С издетства уже привыкают они видеть в матери родной заступницу, а в других женах отцовских клеветниц и безжалостных притеснительниц; в отце — неумолимого, безрассудного карателя, от грозной руки коего уклониться можно только обманом, новою клеветою и доносом, или возмужав, открытою силою. Никогда мусульманин не чтит мать свою, не считает обязанностью ей повиноваться: он видит в ней ту же рабыню, то же жалкое существо, созданное для нужд и прихотей отца, которое видит и во всех других женщинах; какими же глазами должен он смотреть на прочих жен отцовских, на сожительниц его, которые живут и промышляют только кознями, сплетнями, к накладу целого семейства?».[346]

Даль описывал со знанием исследователя степные празднества, сопровождаемые обильным угощением, национальные блюда, манеры угощения и еды[347], но ни одним словом не осуждал того, что могло ему, человеку иной национальной культуры, казаться странным и непривычным. Он только замечал, что «люди — везде люди, везде рабы обыкновений и приличий». Но Даль резко осуждал барымту, калым, многоженство и дикий обычай амангерства.

Амангерство, гнусный обычай, «по которому каждая вдова обязана выйти за брата или ближайшего родственника умершего», сохранился с глубокой древности. Даль ссылался на свидетельство путешественника XIII века Плано-Карпини, описавшего этот

---

[345] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 285 — 287.
[346] Там же, стр. 248 — 249.
[347] См., например, детальное описание аса-поминок (В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 270 — 272).

обычай у татар и монголов[348], и затем указывал: «Из этого замечания мы усматриваем, как древни бывают иногда обычаи народные; почти шесть столетий протекло, и мы ныне находим у киргизов то же... Жена есть вещь, купленная мужем; она принадлежит ближайшему по нем наследнику, по той линии, от которой был выдан калым, то есть по восходящей или боковой, отцовской, но отнюдь не по нисходящей...».[349] Но как ни древен этот обычай, Даль безоговорочно отвергал его, выступая защитником попранных прав казахской женщины, видя в ней не вещь, а человека, достойного уважения. И борьба Мауляны против амангерства, описанная в повести, отражала пробуждение самосознания казахской женщины.

Писатель делал общий вывод, что «соседи наши стали и стоят уже несколько столетий на одном месте, на одной и той же степени невежества и изуверства».[350] Такой вывод продиктован не стремлением умалить национальное достоинство казахского народа, а желанием указать на очевидное зло, чтобы преодолеть его цивилизующим влиянием России.

За всеми фактами социально-экономической и культурной отсталости, за проявлениями варварства, несовместимого с началами гуманности, Даль видел скрытые творческие силы казахского народа, его удивительную жизнестойкость и подавленную до поры до времени способность к кипучей общественно-полезной деятельности. «Народ этот, — указывал писатель, — не лишен природою... ни чувств, ни мыслей». Он не видел в умном и отзывчивом на все хорошее казахском народе каких-либо порочных черт, развитых до предела в странах, где господствовали среднеазиатские ханы, где ханский деспотизм породил «одно ханжество, изуверство, скрытность, закоснелое невежество и хитрость».[351] И если казахи отставали еще в своем социально-культурном развитии, были опутаны цепями патриархально-феодальных отношений, бедствовали

---

348 Описывая путешествие в Монголию, францисканский монах Плано-Карпини рассказывал: «...Однако-же в бытность нашу там случилось, что Андрей, герцог Сарвогольский (Суздальский, по Карамзину, сын Мстислава Киевского. — *М. Ф.)* в Руси, обнесен был Батыю о том, что он выводит татарских лошадей из земли и продает их в других местах и хотя уличить его в этом не могли, однако же убили. Меньшой его брат, услышя об этом, прибыл со вдовою убитого к Батыю, чтобы не отнимали у него владения. Батый сказал: пристойность требует, чтобы он женился на вдове родного своего брата, а вдове приказал выйти за него по обычаю татарскому. Она отвечала, что скорее желает быть убитою, нежели сделать противное закону. Но сколько она не противилась этому, однакоже он выдал ее за него, и обоих повели в постелю, и его, плачущего, положили на нее, принуждая их совершить брак не условным, а действительным образом». (Историческое сочинение Иоанна де-Плано-Карпини, которого папа Иннокентий IV послал послом к татарам в 1246 году. Перевод Языкова 1825 года, глава 3, кн. II, стр. 87).

349 В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 321.

350 Там же, стр. 260.

351 В. И. Даль. Майна. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 360.

от малопроизводительного кочевого скотоводческого хозяйства, то в этом сказывалась не вина народа, а его беда, в этом были повинны «нужда и обстоятельства».

Ум и дальновидность казахского народа проявлялись тогда и в искреннем тяготении к развитию дружеских отношений с русским народом. Народные стремления, как показывал Даль, были направлены не в сторону Хивы или Бухары, к которым тянулись недовольные русским подданством казахские ханы, султаны, а в сторону России. Казахов также характеризует, по материалам повести, неистребимое вольнолюбие, любовь к родине, чувство независимости, мужество, трудолюбие, гостеприимство. Нелегкая жизнь в степи, каждодневная борьба за существование развили в них черты исключительной выносливости[352], необыкновенную привычку прекрасно ориентироваться в безбрежном степном океане, зоркость, сметливость.[353]

И хотя в Казахстане той поры почти не встречалось грамотных, народ сумел создать и бережно сохранить свою богатую духовную культуру, представленную в ценных памятниках устного народного творчества. Даль с глубоким уважением характеризовал поэтическую одаренность казахского народа. Искусство импровизации, составляющее неотъемлемую часть степного фольклора, восхищало писателя. Восхищало потому, что импровизаторами стихов на тот или иной случай повседневности выступали не одни профессиональные акыны, но чуть ли не все обитатели казахского аула. Участники скачек, конских спортивных состязаний, например, обязательно вызывали «дружный припев и похвалу нескольких десятков степных красавиц, которые, садясь вечерком в кружок, воспевают томным и тоскливым напевом, но чистыми и приятными голосами молодечество нового джигита, воспевают наобум (т. е. импровизируя здесь же в процессе пения. — *М. Ф.*), иногда не дурно вылившимися стихами».[354]

Казахи всегда выделяли и окружали почетом фигуру акына, поэта-импровизатора, создающего свои стихи под аккомпанемент музыкального инструмента — домбры или кобыза. Нередко акын выступал и мастерским исполнителем музыкальных композиций, даже композитором. Даль правильно отличал бытовую, безыскусственную импровизацию от профессионального, высоко поэтического искусства импровизации. Следовательно, он был хорошо знаком с богатством казахского народного творчества. «Есть певцы записные, — характеризуется в повести тип профессионального поэта-импровизатора, — певцы наобум (т. е. быстро импровизирующие на любые темы данного момента. — *М. Ф.*), без которых и

---

[352] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 270.

[353] Там же, стр. 288 — 289.

[354] Там же, стр. 273. Исключительные способности поэтической импровизации и дар массового красноречия описываются Далем также в повести «Майна» (см. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 407 — 408 и 409).

пир не живет... Они воспевают на пирах того, кто их кормит, поит и дарит».[355]

Но не совсем точно замечание Даля, что у казахов «очень мало общепринятых или постоянных песен». Известно, что, помимо импровизированных песен, казахский народ создавал и передавал из поколения в поколение вплоть до нашего времени огромное количество поэм и песен. Да и сам автор, указывая на четверостишия, так называемые «кара-улен», как на общепринятую форму поэтических импровизаций, отмечал: «Наибольшее число старинных, богатырских песен, или поэм, составляет исключение из этого общего правила».[356]

Что касается замечаний Даля о поэтике казахского народного творчества, то они слишком ограничены. Форма четверостишия — «кара-улен» — это лишь одна из поэтических форм, наиболее примитивных; наряду с ней существовали и многие другие формы. Для акынов и жырши более характерным являлось пользование формой жыра — семисложного, восьмисложного или одиннадцатисложного стиха с свободной рифмовкой и неустановившейся строфикой. Неверно и утверждение, что «образец всех восточных размеров — это арабская поэма Махаммедья, переложенная искусно на турецкий язык».[357] Мусульманская поэзия проникла в казахские степи не ранее XVIII века, получила распространение во второй половине XIX века, но, как отмечал еще Чокан Валиханов, она оставалась чуждой самобытным основам национального казахского творчества. Валиханов настойчиво требовал «совершенно устранить вредное влияние татарских мулл и среднеазиатских святош».[358] К репертуару этих татарских мулл и среднеазиатских святош и следует отнести излагаемую в повести легенду о вышеназванной арабской поэме и ее авторе.

На основе широко распространенной бытовой импровизации возникла и оформилась национальная игра казахской молодежи, верно описанная наблюдательным автором:

«Девки и парни садятся особыми кружками, одни поодаль от других, а нередко девушки и внутри кибитки, а женихи снаружи, за решеткой, между тем, как кошемная полость подымается, и обе стороны перепеваются взапуски, отвечая друг другу в очередную четырехстишиями. Импровизаторы запевало и запевалка высказывают при этом всю остроту и витийство свое, и толпа тешится, слушает, хохочет и повторяет те из стихов, которые ей более понравились».[359]

Это национальная игра «кыз-ойнак», что в русском переводе означает девичье веселье. Ее характеризует Сабит Муканов как

---

[355] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 300.
[356] Там же, стр. 299.
[357] Там же.
[358] Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова. Записки Русского географического об-ва по отделению этнографии, 1904, т. XXIX, стр. 198.
[359] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 298 — 299.

один из первичных истоков казахского народного театра.[360] Поэзия у казахов так тесно переплеталась с бытом, что становилась основой и другой национальной игры, описанной Далем, — «ау-жар» (о, возлюбленная) или «жар-жар» (друг-друг). Обычно, песни, исполняемые в этой игре, носили обрядовый характер, так как пелись перед отправлением молодых в дом жениха.[361] Как правило, эта обрядовая свадебная песня включала элементы своеобразного поэтического состязания, — айтыса.

В разнообразных жанрах айтыса устойчивое место занимал живой, остроумный диалог джигита и девушки, жениха и невесты, построенный в форме законченных четверостиший и наполненный меткими взаимными характеристиками, волнующими намеками, красочными метафорами, загадками. Внимание Даля привлекла эта одна из первичных жанровых разновидностей казахского айтыса и своей оригинальностью, и выраженной в ней развитой культурой поэтического слова, и отстоявшейся в веках традиционностью. В этом казахском обычае он увидел яркое проявление духовной жизни народа: «Есть обычай, ...по которому на пирах и особенно на свадьбах и поминках молодцы и молодицы состязаются поочередно и нападают друг на друга, как у нас подчас, в словесных сшибках в гостиных: это бывает иногда довольно потешно и забавно, хотя и длится долгонько: всю ночь напролет до белого утра».[362]

В повесть включена запись такой состязательной песни, представляющей несомненный интерес для изучения казахского фольклора. В песнях Мауляны и состязающегося с нею джигита нет и тени мусульманско-религиозных влияний. Эти песни самобытны, их метафоры построены на хорошо знакомом локальном материале, обозначенном даже географически очень точно. В данном айтысе заметны и элементы айтыса-загадки, который также широко культивировался и в быту, и в искусстве признанных акынов. Кстати и непосредственно для характеристики образа казахской девушки Мауляны эти песни дают ценную деталь, подчеркивающую ее независимость и равноправность в споре с молодым человеком. Вот этот сохраненный писателем текст айтыса:

«Он:

Кто праздничный пир встречая, алым сукном не облекается?
Чье сердце, девку завидев, алой кровью не загорается?
Не гляди на меня так: не то увяжусь за тобою:
В тебе искать буду мою сгубленную волю, волю молодецкую!

Она:

И на проводы славные, видала я, красно убираются;
Алому цвету не верь; цвет, сам знаешь, дело обманчивое,

---

[360] Сабит Муканов. Истоки казахского народного театра. Литература и искусство Казахстана, 1941, № 1, стр. 85 — 86; перевод М. Ритмана-Фетисова.

[361] Типичный образец обрядовой свадебной песни переведен в антологии казахской литературы (Песни степей, Гослитиздат, М., 1940, стр. 128 — 130).

[362] Бикей и Мауляна, стр. 300.

А какую ты вещь сгубил — волю молодецкую я не ведаю;
Назови приметы ее, да зачем зайдет она к девицам?

Он:

На Яике-реке, на тихой воде, есть ятовья, омуты глубокие,
А зыбкая струйка его скорей алого цвета обманет!
И в очах твоих то же: очи — омуты глубокие;
Не заглядывать было, не топить в них воли молодецкой!

Она:

Не разгадывать нам, девкам заяицким, загадок твоих.
Назови ты вещь, коли потерял, назови приметы ее;
Утопил, говоришь теперь, а сказывал давече: потерял;
О лукавы речи твои! И нашел же где, у девок, искать утопленников.

Он:

Караганка-лиса и перед волком права живет,
Проведет кругом тебя, да грех на тебя же и свалит!
Так и вы, красные, вы изворотливей караганки-лисы;
Сами вы — алый цвет, а наши, вишь, речи лукавы!»[363]

Поэтичностью отмечены и многие народные представления о тех или иных явлениях природы. Так, в рассказе «Майна» пересказывается казахская легенда о происхождении грозы: «Кайсаки объясняют явление это так: шайтаны, черти, громоздятся друг на друга елкой, пирамидой, чтобы вылезть из преисподней на небо. Аллах поражает их стрелой, и они с шумом и треском рассыпаются. Вот вам сказка о Титанах».[364]

Поэтическая фантазия казахского народа создавала образы, близкие античной мифологии: «Вот вам сказка о Титанах». Что касается вообще казахской мифологии, то Даль, к сожалению, говорил о ней мельком, хотя она очень богата и поэтична.

Не по рассказам, а как очевидец, Даль с добросовестной точностью описывал разнообразные спортивные состязания и игры казахского народа, которые и в настоящее время бытуют в Казахстане. Главные формы национального спорта рождены условиями кочевого быта, естественно развившими у казахов особую любовь к быстрым скакунам. «Лошадь — крылья человека», — говорится в казахской пословице, а Даль отмечал, что в обязательной спортивной части каждого празднества кони — «первые действующие лица», что «это пир, где лошади, как всюду у этого конно-рожденного народа, занимают первые, почетные места, где можно только отличиться батырством на коне и этим стяжать скаковые ставки богачей».[365] Искусство верховой езды воспитывалось с детства, этим искусством одинаково владели джигиты и девушки, молодые и старые. Даль описывал и байгу. Призовая скачка на дальнее расстояние тщательно подготавливалась. Для

---

[363] Там же, стр. 300 — 301.
[364] В. И. Даль. Майна. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 374.
[365] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 273.

байги тренировались лучшие скакуны по издревле выработанным правилам кочевого опыта.[366] Решающую роль как в байге, так и в спортивной игре «кыз-куу» (погоня за девушкой) играет выносливость и быстрота лошади. Даль красочно и точно описывал «кыз-куу», полную спортивного азарта и выявляющую ловкость участников этой игры.[367]

Развита в казахском быту и национальная форма борьбы, которая в ниже описанном виде сохранилась по настоящее время: «Борьба кайсаков и башкиров почти одинакова; но она не походит на борьбу русскую. Под силки не берутся, под ножку не любят и не знают; а закинув друг другу пояс за поясницу, заматывают каждый в него обе руки, упираются один в другого правыми плечами и возятся, что медведи, иногда четыре часа на одном месте. Здесь решает сила; ловкость и искусство изменяют».[368]

Описываются в повести и религиозные представления казахов. По материалам Даля, выясняется довольно безразличное отношение казахов к мусульманству. Ни религиозного фанатизма, ни мракобесия, характерного для многих стран Востока, здесь не было и в помине. Мусульманская религия воспринималась казахами почти исключительно в ее бытовой обрядности. Одновременно сохранялись и пережитки древней языческой религии — шаманизма, основанного на обожествлении умерших предков, на почитании арваха (духа умершего).[369] Наличие двоеверия приводило к тому, что в повседневном быту большим влиянием в то время пользовался бахши, а не мулла. К бахши в житейском обиходе обращались не только как к знахарю, колдуну, но и нередко почитали его, как необыкновенного, святого человека. Выступления бахши носили примитивно театрализованный характер и производили впечатление на зрителей, не искушенных в настоящем театральном искусстве.[370] В этой связи небезынтересен в повести образ казахского бахши или, как называет его автор, баксы.

«Баксы этот с обнаженною черною грудью своею, с худощавым, смуглым, судорожно истерзанным лицом», оборванный и жалкий, производил на Даля отвратное впечатление. Но смешной старик действовал, как власть имущий. Шарлатанскими методами, эффект которых зиждился на заунывном пении, игре на кобызе, самоистязании и разыгрывании припадка сумасшествия, он пытался безуспешно врачевать, предсказывать.[371]

В языке повести сказались лексикографические интересы Даля. Создатель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» с научной любознательностью относился к изу-

---

366 Там же, стр. 274.
367 Там же, стр. 275 — 276.
368 Там же, стр. 274.
369 См. статью Чокана Валиханова «Следы шаманства у киргизов». Сочинения Ч. Ч. Валиханова. Цитир. изд., стр. 8 — 36.
370 Сабит Муканов. Истоки казахского народного театра. Литература и искусство Казахстана, 1941, № 1, стр. 89.
371 В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 308 — 310.

чению казахского языка. Результатом этого изучения явилось обилие казахских слов и выражений в контексте повести, использованных для характеристики речи выведенных героев, передачи разговорных интонаций Бикея, Мауляны и других. Употребление казахских оборотов не усложняют восприятия русской повести Даля, а, наоборот, придают ей больше правдоподобия. Как правило, казахские слова и выражения употребляются Далем в несколько искаженной фонетической транскрипции, но с обязательным русским переводом: джясыр — рабыня, тау — гора, агач — дерево, су — вода, орман — лес, куш-юлы — млечный путь, Темир-казык — железный кол, Полярная звезда, шункар — кречет, бир-бул — держись, камча — плеть, кунак-аш — гостинец для приятелей, лунар — мираж, миным кулым — моя рука, бишмармак,[372] бий, аксакал, калым, барымта и др.[373].

Теперь для русских читателей, отлично знакомых с переводами произведений Джамбула и других казахских авторов, для русских людей, находящихся в постоянном общении с братским казахским народом, многие казахские слова (акын, батыр, той, жаксы, рахмет, джигит, домбра, кобыз и т. д.) стали привычными и понятными. Не то было в начале прошлого века, когда и о самом казахском народе в русском обществе знали очень мало. Поэтому использованные Далем казахские обороты приобретали особое значение, впервые знакомя русских читателей с казахским языком.

Исторические и этнографические материалы «маленькой энциклопедии» Даля о казахской жизни первых десятилетий прошлого столетия достоверны и свидетельствуют о ее глубоком, внимательном изучении. Писатель и в данном случае «постоянно держится на почве хорошо известной и изученной им действительности».[374] Эти содержательные описания и справки, взятые в жанровом единстве с основными, национальными характерами повести «Бикей и Мауляна», представляют первую по времени и по реалистической полноте картину казахской действительности. В этом — серьезная историко-литературная заслуга автора, содействовавшего развитию русско-казахского литературного содружества. Поэтому повесть заслуженно пользовалась вниманием читателей в течение длительного времени.[375]

---

[372] Любопытно отметить, что это название казахского национального блюда Даль использовал в одном произведении, где фигурирует сатирически поданный князь Бишмармак-Шемаханский, в родословной которого были предки: Окрошка, Бишбармак и Тюря (см. В. И. Даль. Небывалое в былом или былое в небывалом. Полн. собр. соч., т. I, стр. 466 — 468).

[373] В. И. Даль. Бикей и Мауляна, стр. 242, 247, 248, 272, 277, 278, 279, 280, 288, 300, 302, 309, 337 и др.

[374] В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Собр. соч. в трех томах, т. III, стр. 833.

[375] Извлечения из повести «Бикей и Мауляна» перепечатывались в периодических изданиях 60-х годов (см., например, «Час досуга», 1861, № 9 и 10).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ В. И. ДАЛЯ НА КАЗАХСКИЕ ТЕМЫ

Кроме «Бикея и Мауляны» Даль написал еще целый ряд произведений на казахские темы: «Майна», «Полуношник», «Уральский казак», «Домик на водяной улице» и тенденциозно-назидательные «Солдатские досуги». В них отразились личные наблюдения Даля казахского быта и рассказы о нем оренбургских друзей. Но эти произведения значительно уступают по литературным достоинствам повести «Бикей и Мауляна», хотя и в них встречаются отдельные примечательные образы, любопытные сцены и колоритные детали казахской действительности первой половины XIX века.

В пространном по объему рассказе «Майна» разрабатывается тема положения казахской женщины. На казахстанском материале Даль ставил социально острый вопрос о бесправии женщины, притом женщины из национальной среды, где она превращалась в рабыню. Такая тема роднит, конечно, в известном смысле, творчество Даля с многочисленными произведениями русской литературы 30 — 40-х годов прошлого столетия — произведениями, посвященными проблеме освобождения женщины, защите ее человеческого достоинства и гражданских прав. Вспоминаются «Кто виноват» (1845 г.) и «Сорока-воровка» (1848 г.) А. И. Герцена, повесть Дружинина «Полинька Сакс» (1847 г.), рассказы П. Н. Кудрявцева, повести Зинаиды Р-вой (Е. Ган, 1843 г.), «Тройка» (1846 г.) и другие стихи Н. А. Некрасова.

Героиня рассказа «Майна» — юная девушка-казашка. Майне было всего лет 14, когда отец Карасакал продает ее за калым неизвестному ей жениху. Обряд сватовства совершается так, что подчеркивается рабское положение продаваемой девушки:

«Баш-ур, — сказал ей отец, указывая на Сакалбая, — кланяйся: вот твой будущий отец, он тебя берет за сына». Потом велел ей пойти к себе и наклониться, повесил ей нагайку свою через затылок и читал наставления, как ей должно слушаться тестя и мужа.

Майна во все это время быстро глядела черными глазенками своими вокруг, останавливалась ими несколько раз с видом какого-то сомнения на дяде Майора (имя жениха. — *М. Ф.*), а затем «сняла и подала с поклоном отцу плеть его, вышла, шагая почти по головам родичей своих, которые усевшись по такому

торжественному случаю чинно в кибитке Карасакала, заняли ее собой всю; а вышедши из-под запона, прикрывавшего двери, кинулась проворно к девкам и бабам, ожидавшим ее тут, и пробормотала в один дух: «который же это, который? неужели старик, сидевший рядом со сватом? а более никого не видно было в кибитке».[376]

С любопытными подробностями автор рассказывает тут же о казахских свадебных обрядах. На счастье Майны жених оказался не стариком, а молодым джигитом, носящим имя Майор.[377] При первом знакомстве они почувствовали влечение друг к другу. Однако на их пути встали неожиданные преграды. Уходя от наряженного над ним чиновничьего следствия, род Науразбай, к которому принадлежал Майор, откочевал в глубь степи и попал под жестокое господство хивинского хана. Прошло три года. Майор тосковал по невесте, «затягивая иногда высоким строем и тоскливым напевом песенку в память Майны».

Карасакал, пользуясь отъездом жениха, решает вторично продать дочь старому султану Беркуту. Выразительна характеристика этого невежественного правителя, которого величали таксыром (сиятельство, благородие) только за его богатство: «...Ему было за 60 лет; дряхлый, ничтожный старичишка, женатый на трех женах, вздумал он жениться еще на четвертой и избрал Майну, которая ему приглянулась. Он знал напамять две, три молитвы из корана, разумеется, не понимая их; твердо помнил наизусть все 14 колен родословного дерева своего от Чингиса и утешался твердой надеждой, что в нем по крайней мере поколение знаменитого завоевателя не прекратится, потому что произвел на свет огромный аул наследников: семнадцать одних сыновей, не говоря о внучатах. Дочерей он не считал: это товар для сбыту, больше ничего».[378] Ему решает продать Карасакал свою дочь. Но в Майне исчезает прежняя покорность родительской воле и пробуждается чувство человеческого достоинства. Она не только отказывается стать женой султана, но и решает бороться за свое право на любовь. Даль, по свойственной ему манере, не углубляется в психологические переживания героини, решающей выступить против косных патриархальных устоев.

Образ Майны в отдельных чертах ассоциируется с образом Мауляны: их роднят сходные качества волевого характера, страстное стремление к поставленной цели, продиктованной не столько разумом, сколько силою чувства. Только, пожалуй, в Майне больше легкомыслия, больше девичьей непосредственности. Она решает бежать из аула, чтобы «достигнуть... обетованной для

---

[376] В. И. Даль. Майна. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 368 — 369.

[377] В. И. Даль так объяснял происхождение столь необычного имени: «Между баюлинцами был старик Сакалбай и у него четыре сына — Полковник, Майор, Капитан и Поручик. Я называю всех их по именам — это не чины, а имена их — только по странности имен сих, которые даны были в честь русских чинов» (там же, стр. 362).

[378] В. И. Даль. Майна. Полн. собр. соч. т. VII,стр. 386.

нее страны», где живет любимый жених. Ее не страшит, что придется преодолеть расстояние в 800 верст по голодной степи. «Скорая, бойкая и предприимчивая», Майна тайно готовится в опасный путь и выбирает в попутчики бедняка, прозванного Куцым и служившего «шутом или дурачком для всех кочевых обитателей целого пространства между Сыром и Куваном». В рассказе воспроизводится типичный образ обнищавшего бедняка, вечно голодного, всеми гонимого. Даль нисколько не утрировал его портрета, когда писал:

«...Куцый лето и зиму ходил в одном платье: в нагольном косматом тумаке или малахае... в стеганом полосатом халате, покрытом до последней нитки заплатками всех цветов и родов — шелковыми, бязевыми, ситцевыми, суконными, наконец, кожаными и меховыми. Лучшее место в халате было лоскут алого сукна, с ладонь, положенный на спине, между лопаток; тут была зашита спасательная молитва, которая однакоже не спасала Куцого от частых побоев толстою плетью по этому же самому месту. Халат, чтобы не безобразить стана, закладывался раз навсегда полами в широкие, кожаные шаровары и надувал их, спереди и сзади и с боков, горою: штаны суживались по ногам клинообразно и оканчивались немного ниже того, где начинались голенища, то есть вполголени... От всегдашней верховой езды, ноги образовали у Куцого, каждая, почти полукружие; и если каблуки сходились вместе, то колено было от колена еще, как Москва от Питера».[379]

Бедняк Куцый не одинок в казахских аулах. Процесс обнищания в степи принимал все более значительные масштабы. Все чаще и чаще в русских поселках, городах встречались казахи батраки, нищие. В рассказе даже приводится песенка таких нищих, выпрашивающих подаяние.[380]

Куцый, мечтавший о женитьбе, охотно согласился сопровождать Майну, которая уверила его, что «страстно в него влюблена».[381] По тропинке, проложенной в камышах тигром, Майна бежит с Куцым и достигает цели. Радостная встреча с Майором завершается трехдневным свадебным пиром. Куцый, в свою очередь, вознаграждается тем, что Сакалбай подыскал ему невесту из среды байгушей, невесту, за которую не следовало платить калыма.

Как и в повести «Бикей и Мауляна», основная сюжетная линия «Майны» сочетается с разнообразными отступлениями. Особый интерес представляют отступления, затрагивающие актуальные для того времени вопросы взаимоотношений Казахстана с Россией и среднеазиатскими ханствами. Возможный упрек Далю в том, что он к решению этих вопросов подходил с официально-правительственной точки зрения, отпадает, когда мы знакомим-

---

[379] Там же, стр. 289 — 290.
[380] Там же, стр. 355 — 356.
[381] Там же, стр. 391 — 392.

ся с описанными им фактами. Объективность добросовестного наблюдателя превалировала над субъективными взглядами Даля.

На печальной истории рода Науразбай подчеркивается, что переход в подданство царской России был наименьшим злом по сравнению с угрозой порабощения казахов хивинскими или бухарскими ханами. Недовольные местными царскими властями, науразбаевцы откочевали к границам Хивы и попали там в кабалу. Дикий произвол, полное отсутствие элементарных начал социального устройства, открытый террор, пренебрежительное отношение к национальному и человеческому достоинству казахов, безмерные грабительские налоги и сборы, — вот что влекло за собою мучительное иго хивинского хана и его приспешников. В сравнении с этим частное недоразумение с царскими чиновниками, из-за которого науразбаевцы откочевали с родных мест, — малозначительный эпизод. Даль сообщал:

«...На Сыре и Куване хивинцы приняли чумекейцев в ежовые рукавицы свои — брали все, что хотели, били их, даже убили несколько человек, не производя никаких следствий и не сажая никого под караул, а и того менее в острог, а рассчитывались всегда на месте... Сборщики податей приезжали, требовали сороковину, выбирали в счет закята, подати, лучший скот, брали еще что им нравилось, бесчинствовали; наурузбайцы иногда, вышед из терпения, сопротивлялись — тогда хивинцы принимались за расправу, били и резали около себя, кого могли первого захватить, — остальные все винились, отдавали, что хотели взять от них, и тем дело было кончено».[382]

Бедствия, сопряженные с хивинским произволом и грабежом, к тому же сочетались для казахов с тоской по родным, обжитым местам. А насколько глубоко было у казахов чувство родины, можно судить по далевскому рассказу о султане Каипе. «Киргизский султан Каип был некогда призван на ханство хивинское». Каип отправляется в Хиву, пользуется всеми правами и почетом восточного властелина. Через полтора года он встречается с казахским охотником. «...Каипа в тот же вечер одолела такая грусть и тоска, что он бежал в лохмотьях нищего; с опасностью жизни пробирался пустынями до аулов своего народа, едва не истомился голодом и жаждою и плакал, как дитя, когда прикочевал опять в родные степи свои...».[383]

На горьком опыте столкновений с варварским режимом среднеазиатских ханств, претендовавших при английской поддержке на господство над казахским народом, последний убеждался, что русское подданство представляет наилучший выход в исторически создавшейся обстановке.

Развитию прочных русско-казахских отношений решающим образом содействовали экономические обстоятельства. Кочевое

---

[382] Там же, стр. 352.
[383] Там же, стр. 355.

скотоводческое хозяйство, зависящее от стихий, не обеспечивало насущных потребностей степного населения. Постоянные межродовые распри, разорительные набеги, выгодные султанам и баям, жестокая эксплоатация, усиление классового расслоения в аулах и обнищание, властно требовали от казахов обращения к более производительным формам хозяйства. Под влиянием русских переселенцев казахи стали постепенно переходить к земледелию. «...Кайсаки начинают сильно заниматься хлебопашеством на Илеке, на Сыре и в других местах»,[384] — отмечал Даль. Конечно, не легко было казахам порвать с привычной кочевой жизнью, зато земледелие, оседлость избавляли от нищеты, от угрозы голодной смерти. Если в каждом хивинце казахи встречали врага, готового убить, ограбить, то общение с русскими приобретало для них совсем иной характер. В повседневности и здесь не обходилось без неприятностей, как показывал Даль,[385] но среди русских можно было найти в трудный момент поддержку и помощь. Неслучайно Майна, как и Мауляна, связывает свою надежду на справедливость с русскими людьми.

Литературные интересы Даля сосредоточивались, главным образом, на изучении и показе жизни казахского народа, его социальных и семейных отношений, его национального облика. Пейзажные зарисовки в казахстанских произведениях Даля обычно скупы и немногочисленны. Тем больший интерес вызывает в «Майне» яркая картина степного пожара, причиняющего много горя кочевым аулам. Как пейзажист, Даль остается верным излюбленной им манере художественного изображения. Точность и лаконичность описания придает особую выразительность картине грозной стихии огня, пожирающего все на своем пути.[386]

«Уральский казак» Даля — типичный образец физиологического очерка, нравоописательной прозы, которую горячо поддерживал в 40-е годы Белинский. Наряду с такими далевскими очерками, как «Колбасники и бородачи», «Денщик», «Дворник», названными Белинским образцовыми произведениями в жанре физиологического очерка, «Уральский казак» написан действительно талантливым мастером метких очерковых зарисовок.

В живо очерченной фигуре уральского казака Маркиана Проклятова рельефно подчеркнуты типические черты целой социальной группы — уральского казачества. Трудовые занятия, бережно охраняемый бытовой уклад, тонко уловленные интонации языка уральского казачества воспроизводятся с протокольно-фотографической точностью, на какую только был способен Даль. Десятилетия нелегкого труда и воинской службы, постоянные столкновения с различными опасностями в степи и на море выковывали суровый железный характер Проклятова. «Гурьевский

---

[384] Там же, стр. 356.
[385] Там же, стр. 370, 376 — 377.
[386] Там же, стр. 369 — 370.

казак старинного закалу» одинаково приспособлен и к морозу, и к жаре, и к морской буре, и к степному бурану.[387]

Обстановка жизни в еще мало обжитом районе тогдашнего Казахстана развили в Проклятове умение браться и справляться с любым делом, не теряться в самых опасных положениях. Он мастер на все руки. В короткое время он может объездить полудикую степную лошадь. «Он хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах, не только из Гурьева в Астрахань, но и к Колпинскому кряжу и дальше». Проклятов — и лучший рыбак, и отчаянный моряк, способный поспорить с любым штормом. Не раз во время аханного рыболовства, когда рыбаки выезжают по морскому льду на санях, его на льдине уносило в море. «Проклятов видел день за днем и час за часом мокрую и холодную смерть под собою. Но господь миловал, казака приносило опять моряной на берег. Тогда казак наш, бывало, тужит только о том, что снасти пропали и собираться бедняку опять не с чем. Впрочем, если бы и не вынесло его на льдине, так казаку и на санях ину пору из моря выехать удается, да не по льду, которого уже нет, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло, а таки просто на санях по воде, по волнам; так по крайней мере поправился недавно, на нашей памяти, товарищ Проклятова, казак Деревянов, которого таскало несколько недель в относе».[388]

Так бывалые и крепкие люди в XVIII — XIX веках первыми осваивали новые земли, выполняли пограничную службу, ходили в походы против среднеазиатских ханов. Суров и неприветлив нрав Проклятова, но таким его сделала обстановка, напряженная, каждодневная борьба. Сила этого гурьевского казака-бедняка в его труде, а трудолюбие русских, в конце концов, снискало уважение казахов, с которыми еще недавно тому же Проклятову доводилось вступать в открытые стычки.

Но среди уральских казаков были и кулаки. К ним-то и попадали в кабалу обнищавшие казахи. Описывая приготовления казаков к осеннему лову на реке Урал, Даль отмечал, что многие хозяева «привезли по работнику киргизскому в мохнатом лисьем малахае».[389] Среди трехтысячной казачьей массы, раскинувшейся «на голой, бесплодной степи» по берегам Урала, насчитывались сотни казахов-батраков. Такой размах принял процесс обнищания казахских аулов, так много было обездоленных бедняков, вызвавших в свое время глубокое сочувствие ссыльного поэта Т. Г. Шевченко. Безотрадностью веет от скупых строк очерка «Уральский казак», в котором говорится о мертвом зимнем затишьи и безлюдьи в казахской степи:

«Пришла зима — Урал замер, снежное море покрыло необозримую степь; голодные и холодные киргизы сидят смирно и спо-

---

[387] В. И. Даль. Уральский казак. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 174 — 175.
[388] Там же, стр. 182.
[389] Там же, стр. 172.

койно на зимовках, не до того им, чтобы прорываться по лочам, тут или там и угонять стада и табуны — все замерзло».[390]

В суровую зиму погибал скот, остававшийся на подножном корму. Беспомощные в борьбе с грозными стихиями природы, аулы нищали, вымирали. Царь-голод заставлял итти батрачить или нищенствовать. Жизнь человека ставилась в таких условиях ни во что. Даль приводит потрясающую деталь. Проклятов, добродушный и отзывчивый человек, «который, несмотря на бедность свою, помогал многим, кто бывал в нужде или еще беднее его», который «жалел убить старого пса», безжалостно выбрасывает на снег двух голых ребятишек, захваченных вместе с отбитыми навьюченными верблюдами среднеазиатского каравана. Правда, Проклятов оправдывается перед офицером, что«у меня и свои-то, может статься, сидят дома не евши; ныне хлеб рубль семь гривен за пуд»,[391] но дикий его поступок заставляет вспомнить печальные строки песни Джамбула о прошлом:

Чем были во мраке проклятых времен
Десятки забитых племен?
Травой? Нет, трава не была так низка.
Песком? Нет, дешевле и мельче песка.
Скотом? Нет, бесправнее даже скота,
Чья доля удары кнута.[392]

«Рассказ пленника Федора Федорова Грушина» построен на обычном в начале XIX века происшествии. Грушин попадает в хивинскую неволю, находится на положении раба у хивинского хана. Хан не без основания заподозрил его в том, что он помог бежать из Хивы астраханскому мещанину Степану Бахрамееву и пензенскому однодворцу Федору Мерзлякову. «Хан решает казнить Грушина. Но Грушин сговаривается с надежными друзьями и в декабрьскую ночь бежит из Хивы. Он благополучно добирается до Гурьева, а затем и до Оренбурга».[393]

Интерес этого рассказа, передающего живые особенности языка рассказчика Грушина, заключается в показе дружеских отношений между казахами и русскими. Казахи, рискуя навлечь гнев хивинского хана, помогали русским людям спасаться от рабства и возвращаться на родину. Казах Садык Таубаев вывез тайно из Хивы друзей Грушина. Казахи же спасают самого Грушина, Рязанова, Федорова, Парфенова от преследования хивинского хана и доставляют их в Гурьев. Грушин вспоминает:

«На третий день выбились из сил и мы, и лошади. Что у них (преследователей. — *М. Ф.)*, что у нас, трои сутки, без малого,

---

390 Там же, стр. 176.
391 Там же, стр. 179 — 180.
392 Джамбул. Поэма о братстве народов. Колхозник, 1938, № 2, стр. 63.
393 В. И. Даль. Рассказ пленника Федора Федорова Грушина. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 217. В рассказе «Осколок льда» также рассказывается о продаже в рабство бухарскому хану и возвращении в родную Красногорскую крепость юной девушки-казачки Маши Чернушкиной.

ни крохи во рту не бывало, а морозы уже стали показываться порядочные... 31 декабря наехали мы на аул каракисяков (одно из кайсацких племен), по берегу Каспийского моря, верст 30 от устья р. Эмбы. Мы подъехали сперва к табуну, верст 20 от аула... Табунщики накормили нас: побыв тут еще дня с два, поехали мы в аул, взяв у пастуха одну лошадь, потому что один аргамак наш отказался вовсе и едва дошел в поводу. В ауле старшина Тунгаз-бай принял нас хорошо, поверил во всем и обещал отправить нас вместе с сыном своим в Гурьев...»[384]

Даже тогда, когда приехавший из Хивы Култай передает, что хан обещал за Грушина столько золота, сколько он весит, «Тунгаз-бай и другие киргизы советовали вести нас в Россию». Сочувствие русским оказывается сильнее страха перед хивинским ханом, в обещаниях которого казахи достаточно уже разочаровались. Они собираются в далекий путь сопровождать бежавших русских пленников не столько ради возможного материального вознаграждения, сколько во имя дружбы с русскими.

Разительная перемена в отношениях между казахами и русским населением, в частности и уральским казачеством, произошедшая за какие-нибудь 30 — 40 лет, отражена в содержании рассказа «Полуношник». В последние десятилетия XVIII века, «когда дедушка внучком был, никак вскоре после пугачевщины», еще часто происходили вооруженные столкновения, взаимные набеги, описанные в «Полуношнике». Но на смену вражде пришли мирные торговые отношения, обмен продуктами, трудовая взаимопомощь, и прежние беспокойные времена стали уже преданием.[385]

Русские солдаты, выполняя пограничную службу, охраняя казахское население от грабительских набегов бухарских, хивинских, кокандских охотников до легкой наживы, вместе с тем выступали носителями определенной трудовой культуры. Они были и первыми строителями русских городов, поселков, дорог, мостов, крепостных сооружений, пионерами земледелия и новых для казахской степи форм труда. На основе трудовых отношений возникало и укреплялось содружество русских и казахов. С этой точки зрения заслуживает внимания небольшой содержательный рассказ Даля «Домик на Водяной улице». Герой рассказа — русский офицер, капитан Комлев, один из чудо-богатырей Суворова. Оказавшись в необжитом степном районе Западного Казахстана, он еще в конце XVIII века становится деятельным строителем одного из будущих городков. Когда в короткое время, а «у него все делалось мигом, как в сказке у Ивана-царевича», Комлев построил первый во всей округе дом на берегу Яика, теперешнего Урала, то это явилось беспримерным событием для окружающего населения:

«...В свое время жители вновь заложенного города и всей ок-

---

[384] Там же, стр. 218 — 219.

[385] В. И. Даль. Полуношник (уральское предание). Полн. собр. соч., т. VII, стр. 31 — 43.

ружности его: казаки, башкиры, татары, киргизы сходились дивиться на дом о пяти окнах, который казался им палатами... Мигом у него домик поспел, куда приютить надо было молодую жену, которая жила дотоле в стоявшей невдалеке киргизской кибитке».[396]

Первый домик в степи, где веками передвигались степные кочевья, становится символом новой жизни, новой культуры. Поэтому он так всех удивляет, вызывая в казахах желание последовать хорошему примеру. В действительности так и получилось: не только на берегах Яика, но и во многих других районах Казахстана, где происходило соприкосновение русского и казахского населения, быстрее стала прививаться оседлость. В честь окончания строительства дома Комлев устраивает пир, в котором участвуют и русские, и казахи, и башкиры. Домик, сооруженный трудолюбивым капитаном, оказывается радостным событием для всех:

«Бьют скот за раскатами крепости, быков для русских, лошадей для башкир, баранов для киргизов, будет той, пир про весь мир, капитанский дом святить».[397]

Автор наделяет Комлева чертами излишне подчеркнутой набожности, заставляет его произносить немало пустых фраз, но главное в рассказе — это трудолюбие, деловитость, радушие русского человека. Ко времени пребывания Даля в Казахстане от домика Комлева остались лишь разрушенные стены, но почин строителя не пропал даром. Кругом разросся городок со многими улицами, с постоянным городским населением, городок, ставший, пусть и маленьким, оплотом распространения русской бытовой культуры.

«Солдатские досуги» Даля, как и его же «Матросские досуги», написаны в духе квасного патриотизма, отличаются грубым тенденциозно-назидательным характером и имели целью возбудить в воинской среде верноподданические религиозные настроения. Здесь Даль не писатель-реалист, а старательный исполнитель правительственного заказа на низкопробные агитки лубочного типа. На примерах, связанных в частности с Уральским казачьим войском, с его действиями в казахской степи, восхвалялись воинские доблести казаков, выходивших победителями в любых условиях. «Солдатские досуги» писались почти двадцать лет спустя после отъезда автора из Оренбурга, в то время, когда его былые демократические настроения сменились настроениями реакционно-охранительными, националистическими и религиозно-мистическими.

«Солдатские досуги» вызвали резко отрицательную оценку Т. Г. Шевченко. Правда, Шевченко тогда еще не успел прочитать только что опубликованных назиданий Даля, но его справед-

---

[396] В. И. Даль. Домик на Водяной улице. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 182.

[397] Там же.

ливо возмущало даже название их: «Кажется, Казак Луганский написал книгу под заглавием *Солдатские досуги*. Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книг не читал). А если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять — какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если бы написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров».[398]

Недоумение великого украинского поэта, революционного демократа вполне законно. Прежний автор правдивых произведений в неожиданной роли автора религиозно-монархических агиток — это не могло не удивлять и не возмущать. Недоумение Шевченко несколько рассеялось после встречи с Далем в Нижнем Новгороде. В этой беседе Даль вдруг стал говорить об апокалипсисе, «принялся объяснять смысл и поэзию этой боговдохновенной галиматьи» и даже прочитал «собственный перевод откровения с толкованием».[399] Шевченко отметил в дневнике, что это было ему «больно не по душе», что ему непонятно, почему «такой умный человек, как В. И. (Даль. — *М. Ф.*), переводил и толковал эту аллегорическую чепуху».[400] Повидимому, с Даля в пору его встречи с Шевченко спрашивать уже было нечего...

О «Солдатских досугах», напоминающих по стилю наивные лубочные поучения, не стоило бы говорить, если бы в них не привлекали внимание отдельные необычные страницы. Так сравнительно интересен единственный очерк из цикла «Солдатских досугов», близкий по содержанию очерку «Уральский казак». Тут подкупает выхваченная из жизни картина пятинедельных приключений казака Потапа Деревянова и казахского батрака Тюбета Баранова на Каспийском море, во время аханного рыболовства. Спасает рыбаков крепкое содружество, единая воля к преодолению смертельной опасности, те замечательные качества, которые развивались на основе трудовых отношений между русскими и казахами. Потап Деревянов с чувством сердечного уважения к Тюбету, товарищу по гибельному положению, рассказывает:

«Льдина наша была уже не длиннее 25 сажен, и час от часу крошилась более и более от тепла и от волнения. Предвидя неминуемую гибель свою, мы долго советовались вдвоем, как бы спастись от верной смерти, и придумали наконец вот что: зарезав обоих лошадей, которые отощали до того, что едва были живы, мы сняли с них шкуры дудкой, то есть целиком, мешком,

---

[398] Т. Г. Шевченко. Журнал (дощенник), дневник 1857 г., Киев, 1936, стр. 7.

[399] Там же, стр. 172.

[400] Там же, стр. 173.

не распарывая вдоль; потом зашили их, завязали как могли и надули. Потом подвели мы два бурдюка эти под полозья одних саней, привязали на-крепко, спустили на воду... Пять дней и пять ночей плавали мы таким образом на санях и на бурдюках; то приносило нас ветром на вид берега, то опять уносило. Сколько раз выбивались мы из сил и бросали весла из рук, ожидая спокойно конца; но на шестой день увидели в стороне кусовую, пустились на самоделковом корабле к этому судну, гребли, сколько сил есть, все утро до самого полудня, и наконец благополучно достигли ее и были приняты астраханским мещанином Овчинниковым, который вышел уже на весну в море на рыболовство».[401]

* * *

Повести, рассказы и очерки Даля печатались в распространенных журналах его времени — «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения», «Москвитянине», переиздавались на протяжении ряда десятилетий в отдельных сборниках и полных собраниях сочинений.[402] Произведения Даля пользовались одно время популярностью, читались повсеместно и, таким образом, содействовали ознакомлению русского общества с жизнью казахов. Критика неоднократно отмечала эту важную заслугу писателя.

Н. А. Добролюбов в студенческие годы, конспектируя лекции профессора С. И. Лебедева по курсу истории русской словесности и сопровождая чуть ли не каждое положение этого благонамеренного профессора критическими замечаниями, вместе с тем сочувственно излагал данную в лекциях оценку творчества Даля, особенно же оценку тех его произведений, где речь идет о жизни братских народов нашей страны:

«Рассказы Даля отличаются небольшим объемом и несложностью содержания. Он ничего не придумывает, а все то рассказывает, что было. Совокупность его рассказов составляет поэтическую этнографию. Некоторые воспроизводят быт инородцев (по терминологии проф. Лебедева. — *М. Ф.*): «Бикей и Мауляна», «Цыганка», «Болгарка», «Подолянка»... В последнее время было несколько очерков из малорусского быта.

...Даль первый стал изображать у нас простой быт, и изображать верно. Народным языком он владеет с замечательным совершенством... Рассказ его действует всегда симпатично на читателя. До него никто не обращался к быту простолюдинов, как он».[403]

---

401 Там же, стр. 122 — 123.

402 В. И. Даль. Полн. собр. соч. в восьми томах, СПб, 1861; то же, изд. 2-е, СПб, 1879; полн. собр. соч. в десяти томах, СПб, 1897 — 1898; Повести, СПб, 1861; Солдатские досуги, изд. 2-е, СПб, 1861.

403 Н. А. Добролюбов. Заметки и размышления по поводу лекций Степана Исидоровича Лебедева. Полн. собр. соч., т. V, стр. 505.

Н. А. Добролюбов, повидимому, солидарен с тем, что Даль действительно одним из первых в русской литературе обратился к правдивому показу жизни казахского и других народов России. Не вызывает возражения великого революционного демократа и утверждение, что рассказы Даля всегда оказывали положительное влияние на массы читателей. Добролюбов встречался с Далем в 1857 г. и в письме к И. И. Срезневскому из Нижнего Новгорода писал, что «самое отрадное впечатление оставил во мне час беседы с Далем... Общему приятному впечатлению решительно ничего не мешает».[404]

Спустя уже десять лет после смерти В. И. Даля, П. Полевой в биографическом очерке, предпосланном полному собранию сочинений писателя, также подчеркивал значение его работы над казахской тематикой.

«В течение нескольких лет, — писал П. Полевой, — число его литературных очерков, — уже достигло сотни, и многие из них указывали на то, что Далю удалось прибавить к своему глубокому и разнообразному знанию России — еще и знание быта уральских казаков и киргизов, так многие из очерков, по содержанию своему, заимствованы были именно из быта этой отдаленной окраины России».[405]

---

[404] Н. А. Добролюбов. Неопубликованные письма. Сб. «Звенья», т. III — IV, изд. Academia, М. — Л., 1934, стр. 548.

[405] П. Полевой. Владимир Иванович Даль (биографический очерк). Полн. собр. соч. В. И. Даля, т. I, стр. XVI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наше время нет нужды переоценивать заслуги Ушакова и Даля — писателей, когда-то подходивших в своих русских повестях к казахской теме. За последние три десятилетия советская литература сделала для раскрытия этой темы столько, сколько вся старая литература не могла сделать за столетие. Идейный уровень, на котором решаются теперь вопросы дружбы народов, не идет ни в какое сравнение с уровнем, до которого способны были подняться писатели первой половины XIX века, в особенности такие, как Ушаков и Даль, отличавшиеся ограниченностью своего классового сознания.

Однако и не в обычаях советской науки замалчивать те факты нашего литературного прошлого, которые в свое время несли на себе печать прогрессивности, вели вперед, а не назад. Именно теперь, когда стремительное движение нашей родины по социалистическому пути привело к полному торжеству ленинско-сталинской национальной политики, когда не осталось камня на камне от царской России — тюрьмы народов, когда процветает великая нерушимая дружба братских народов СССР, привлекает исследовательскую мысль то, что раньше оставалось в тени. В развитии дореволюционной русской литературы сыграли свою роль Ушаков и Даль, повести которых о Казахстане должны вызвать и вызывают к себе интерес прежде всего в Советском Казахстане.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. — Общественное и историко-литературное значение первых русских повестей на казахские темы. 3
Глава вторая. — В. А. Ушаков (1789 — 1838). 22
Глава третья. — Повесть В. А. Ушакова «Киргиз-кайсак». . . . 29
Глава четвертая. — Критика 30-х годов XIX века о повести В. А. Ушакова. 49
Глава пятая. — «Киргиз-кайсак» В. А. Ушакова и «Иван Выжигин» Ф. Булгарина в оценке В. Г. Белинского 62
Глава шестая. — В. И. Даль (1801 — 1872) и его деятельность в Казахстане. 8
Глава седьмая. — Повесть В. И. Даля «Бикей и Мауляна». . . . 11
Глава восьмая. — «Маленькая энциклопедия» казахской жизни. . . 12
Глава девятая. — Рассказы и очерки В. И. Даля на казахские темы. . 14
Заключение. 15

Редактор А. А. Вайнберг.

Техредактор А. Г. Лесной.

Корректор И. В. Козлова.

*

Сдано в набор 12/IX 1950 г. Подписано к печати 9/XII 1950 г. Объем $9^5/_8$ п. л. Уч.-издат. 10,8 л. УГ07353. Тираж 1000.

*

Типография Издательства АН КазССР, г. Алма-Ата, ул. Виноградова, 20
Зак. 152

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66

Цена 9 руб. 50 коп.